



Вячеслав Алексеевич Пьецух

Суть дела (сборник)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2819175

Суть дела: эссе, повести, рассказы : ЗАО «Издательство НЦ ЭНАС»; Москва; 2011
ISBN 978-5-4216-0011-4

Аннотация

Главное дело нашей жизни – это собственно жизнь. Так в чем же суть дела?

Вячеслав Пьецух: «Во-первых, сдается мне, внутренняя жизнь – это то, что в принципе отличает человека от всего сущего на земле. Во-вторых, как показала практика, это просто-напросто замечательная жизнь, и уже потому хотя бы, что если в ней и бывает горе, то горе какого-то утонченного, приемлемого накала, из тех, которые окрыляют. В-третьих, не исключено, что жизнь в себе – это как раз зерно, а жизнь вовне – это как раз скорлупка».

А если так, то какие бы беды и невзгоды ни приходилось нам преодолевать, какие бы промахи и ошибки мы ни совершали, какие бы коленца ни выделявала наша шальная история, жизнь – прекрасна.

В сборник включены новые произведения, созданные в последние годы.

Содержание

Глядя в корень	4
НОБЕЛЕВСКАЯ РЕЧЬ	4
БАЗАРОВ КАК АЛЬБАТРОС	7
ЭВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ	17
НОВАЯ «БУКОЛИКА», ИЛИ ПРЕЛЕСТИ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ	22
Переходя поле	26
СТАРУХА	26
ДОЖДЬ	30
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Вячеслав Пьецух

Суть дела: эссе, повести, рассказы

Глядя в корень

НОБЕЛЕВСКАЯ РЕЧЬ

Ваши королевские величества, достопочтенные члены Шведской академии, дамы и господа!

Понятное дело, что мне, заурядному русскому писателю из простых, каких у нас в России водится столько же, сколько у вас пожарных, Нобелевской премии не видать как своих ушей. Но воздать должное сей славной награде, которой издавна отмечаются высшие достижения духа человеческого, хочется позарез.

Обидно, господа! Больше ста лет существует это самое престижное и непомерно щедрое воздаяние за круглосуточные бдения, головокружительные открытия в области прекрасного, за мужество, показанное под пытками синтаксисом и токами воображения, за нерушимую верность гуманистическим идеалам, а Россия все сидит при своих пяти Нобелевских премиях, которыми в разное время были удостоены один прямой гений, два «безродных космополита», большевистский угодник и протестант. И главное, за какие такие заслуги перед Богом и людьми? Кто-то (по слухам, на пару с таинственным соавтором) написал сказание о загадочных казаках и, видимо, взял господ академиков экзотикой и сепаратистскими настроениями, другой сочинил лихорадочную сагу невесты из какого быта, да еще исполненную не по-русски, а как будто на эсперанто, третий по преимуществу тем покорила читающий мир, что лютой ненавистью ненавидел большевиков.

Куда смотрит Шведская академия? Ведь за сто с лишним лет, что эта почтенная организация орудует на ниве изящной словесности, Россия явила миру целый сонм гениев, который образуют самые искрометные имена. Один Чехов способен затмить любую национальную литературу, а между тем при жизни у него не вышло ни одной книжки за рубежом, а Лев Толстой (ему отказали в Нобелевской премии буквально за то, что он не любил аллопатов и паровоз), а Горький с его всемирной известностью, даром что местами он все-таки слабоват, а Бабель с его бессмертной «Конармией», а Зощенко, Платонов, Пришвин, Ахматова с Цветаевой... ну и так далее, заключая Пильняком-Вогау, Колбасьевым и Добычиным, о которых на Западе никто даже и не слышал.

Спрашивается: в чем дело? А дело, сдастся, в том, что просто-напросто нас не любят, а не любят оттого, что не понимают, а не понимают по той причине, что не хочется понимать, что мы им неинтересны, как аборигены острова Шикотан. Вот сценариста Хемингуэя они полюбили, потому что он писал о понятном: о том, как в Африке охотятся на антилоп, как ловят рыбу в Атлантическом океане, как весело жить в Париже и противно воевать в Италии, как это, в сущности, занятно, что если где-то зазвонит колокол, то обязательно по тебе. Все прочее, что хоть на йоту мудренее сей подростковой белиберды, как правило, остается за рамками понимания и, следовательно, внимания, и даже своему в доску Томасу Манну академики дали Нобелевскую премию не за великую «Смерть в Венеции», а за тягомотных «Будденброков», которых до конца дочитать нельзя. Какой уж тут Чехов со своей «Степью» или «Свирелью», когда, с точки зрения здравомыслящего шведа, по всем без исключения чеховским персонажам, от Каштанки до полкового доктора Чебутыкина, плачет навзрыд сумасшедший дом.

Спору нет: любить нас особенно не за что, тем более что в Европе давно миновали времена Джордано Бруно и Савонаролы, а у нас еще наберется немало любителей пострадать. Мы и вороваты, и плевать нам на правила дорожного движения, и взятки у нас не берут одни паралитики и дошколята, и уж если мы воюем, то до последнего патрона, и нет у нас такой моды – сдавать без боя антикварные города. Но возьмите в толк, господа хорошие: немец может озвереть по указанию свыше, шведы сидят по преимуществу на нефтелях, итальянцы не умеют играть в шахматы, с французами, кроме как о деньгах, не о чем говорить... Однако же романо-германский мир нам бесконечно интересен, ибо мы, русские, публика вообще заинтересованная, и даже бывали случаи, когда сочинения Оноре де Бальзака сначала выходили у нас по-русски, а уж после во Франции по-французски, с запозданием месяца в полтора. А вот знал ли, нет ли автор «Человеческой комедии» о существовании русской литературы – это еще вопрос. Скорее всего не знал. Кабы он имел представление о состоянии нашей изящной словесности, да хоть прочти он на досуге одних гоголевских «Старосветских помещиков», то, надо полагать, бросил бы с горя свое перо.

Такое небрежение тем более обидно, что после Сервантеса, который открыл художественную литературу, как открывают новые планеты, Запад отнюдь не подхватил новации великого испанца и еще лет триста, до самого Марсея Пруста, культивировал приложения к Большой Британской энциклопедии, исторический роман мальчикового замаха и вариации ископаемого «Сказания о Гильгамеше», приправленные германской рассудительностью над трупом поверженного врага. И только в России, стране снегов и заборов, традиция Сервантеса нашла достойное развитие у писателей и пристальное внимание у читателей, так что смело можно объявить: в течение двухсот лет, от Гоголя до реставрации клана Мамонтовых-Рябушинских, только в России и существовала литература в правильном смысле этого слова, как дело литургическое, как служение человеку через приобщение святых тайн.

Но обласканы Шведской академией отнюдь не мы, а преимущественно писатели романо-германского направления, более или менее достоверно повествующие о терзаниях бедной девушки, которую никто не берет замуж, перипетиях какой-нибудь предвыборной кампании, страстях репродуктивного возраста или про то, как ушлые люди делают деньги из ничего. Оттого-то среди Нобелевских лауреатов частенько попадаются прямо загадочные фигуры, да вот хотя бы Хенрик Понтонпидан, или Владислав Реймот, или господин Фо; кто такие? почему такое? откуда повылазили? и вообще кто из них написал «Муму»?

Между тем настоящая литература озабочена и печется об одной-единственной субстанции – о душе. По-другому и быть не может: она, то есть наша неприкаянная душа, потому представляет собой вечный объект изящной словесности, почему вечный объект анатомии – тело человеческое, а черной металлургии – чугун и сталь. Во всяком случае, вся русская литература, от протопопы Аввакума до раскола Союза советских писателей, бережно копалась в человеке, исследуя феномен его души. О чем написан лесковский «Очарованный странник»? Вовсе не о злоключениях кавалерийского *коннесера*, а впоследствии послушника, – о душе. О чем эпопея «Война и мир»? Отнюдь не о том, каким образом личность коррелирует с историческими процессами, – о душе. Оттого у нас в России прежде и читали-то, как жили, ибо нет ничего интереснее, трогательнее, заманчивее, чем полное знание о себе. Да еще приобщение святых тайн через литературу прежде внушало читателю благородное беспокойство, поскольку из книг выходило, что все не так просто, как записано в свидетельстве о рождении, и, может быть, существовать надо все-таки с оглядкой на вечное бытие. Да еще художественное слово высоко поднимало человека в его собственных глазах, так как, по здравому рассуждению, он неизбежно приходил к мысли о богоподобии своего брэнного существа, несмотря даже на противную рожу и отвратительный антураж; если чиновник 14-го класса, как Саваоф какой-нибудь, способен сотворить из ничего Татьяну Ларину, то и он, будучи чиновником 14-го класса, видимо, тоже некоторым образом Саваоф... Он еще потому

придерживался этого убеждения, что верил в Татьяну Дмитриевну больше, чем в знакомую цветочницу, которая торгует тюльпанами за углом.

В общем, за двести лет неустанных трудов наши писатели возвысили свое ремесло до высот белой магии, колдовства и накопили такие перлы и диаманты по департаменту изящной словесности, что не освоить корпус великой русской литературы – значит жестоко обобрать самого себя.

Тем более удивительно, что господам распорядителям Нобелевской премии дела нет до наших сокровищ, и они выискивают по европейским закоулкам что-нибудь такое... не похожее ни на что. Как говорится, бог в помощь, мы себе так и так цену знаем, и нам никакие распорядители не указ. Однако желательно объявить: что-то неладно в Шведском королевстве, это, пожалуйста, имейте в виду, ваши королевские величества, достопочтенные члены Шведской академии, дамы и господа.

2010

БАЗАРОВ КАК АЛЬБАТРОС

У Шарля Бодлера есть стихотворение, повествующее (именно что повествующее!) о том, как временами, забавы ради, моряки ловят альбатросов, предвестников непогоды, чтобы всласть поиздеваться над гордой птицей, которая летать может, а ходить – нет. Так вот и русские писатели в другой раз, играючи, то есть разрабатывая в свое удовольствие ту или иную художественную идею, строя сюжет, а главное, рисуя характеры персонажей, вдруг возьмут и заарканят какого-нибудь *альбатроса*, предсказателя бурь, который напророчит грандиозную социально-экономическую беду.

Писатели всегда и везде отличались этим неприятным свойством, хотя мало кто из них увлекался столоверчением, каббалой и гаданием на бобах. Энциклопедисты накаркали якобинский террор, Жорж Санд – нашествие домохозяек, сбрендивших на почве изящной словесности, Кнут Гамсун – оккупацию немцами Норвежского королевства, правдолюбец Солженицын – республику вора и дурака.

Вот и прекраснотушный наш писатель Иван Сергеевич Тургенев туда же: в знаменитом своем романе «Отцы и дети» он, казалось бы, всего-навсего вывел сердитого прогрессиста Евгения Базарова в качестве новейшего продукта российской действительности, а чувство такое, как перевернешь последнюю страницу романа, точно в дверном проеме внезапно встал фертом жуткий, оскаленный призрак в длинном черном балахоне, постоял-постоял и погрозил тебе увесистым кулаком. Многое вдруг почудится за этим нехитрым жестом: пылающие дворянские гнезда, карикатурные рожи живодедеров, повывлезавших черт его знает из каких дыр и засевших в древней царской цитадели на Боровицком холме, пайка дрянного хлеба с опилками, бараки, по окна занесенные снегом, латыши-крепыши и китайцы-хунхузы из заградительных отрядов, которые расстреливают всех кого ни попадя за незнанием языка...

Интересно, что сочинять Иван Сергеевич не умел и, по его собственному признанию, всегда живописал с натуры, приди ему на мысль изобразить хоть комнатную собачонку, хоть колоритного босяка. В том-то и дело, что Евгений Базаров – это отнюдь не плод воображения вроде былинного Платона Каратаева из романа «Война и мир», а список с какого-то уездного врача, отчаянного, но мрачного либерала, то есть тип человека, действительно явившегося в 60-х годах XIX столетия и существовавшего бок о бок с нашими прапрадедами и прапрабабками, но как бы наперекор. От него-то и пошла II-я русская Смута, которой не видно конца и края, даром что из этого баламута-шестидесятника взаправду лопух вырос, даже и не один.

А мы всё думаем-гадаем: откуда в нашем, некогда добродушном, не помнящем зла народе взялись ожесточенные бомбисты, малограмотные мечтатели с топором за пазухой, бесшабашные строители града Китежа, которые ни в грош не ставили ни жизнь человеческую, ни обыкновенные моральные нормы, ни предания старины... Да оттуда и взялись, из 60-х годов XIX столетия, из эпохи великих реформ, давших нашим бородачам личную свободу и кое-какие гражданские права, когда стали задавать тон недоучившиеся студенты, озлобленные правдоискатели из народа, первые феминистки в синих очках, вообще малахольная молодежь.

Бог вещь, – может быть, и не стоило отменять крепостное право как состояние, наиболее органичное русскому простаку, ведь спохватился же Сталин (он же Иосиф I) семьдесят лет спустя после Манифеста от 19 февраля и ввергнул крестьянство в ту же самую кабалу... Зато народ уже зря не шатался туда-сюда за отсутствием паспортов, промышленность встала на ноги благодаря той новации, что народу ничего не платили, армия окрепла, тертые мужики пикнуть не смели, не то что недоучившиеся студенты, причем никакого государства так не обожали по городам и весям, как этого самого Иосифа I, и в Святую Троицу

так не верили, как в мировую революцию, и трудовая дисциплина в силу закона от 7.8.32 поднялась на небывалую высоту.

Впрочем, народ не делает революций, по крайней мере, у нас в России, и в каком бы состоянии он ни томился, в крепостном ли, в сравнительно вольном, похмельном или в состоянии глубокой депрессии, миллионы простых людей каким-то чутьем доходят, что бунт – дело барское, что лучше все равно не будет, бунтуй не бунтуй, хотя и хуже тоже не будет, а будет по-прежнему отвратительно, только на новый лад. Так чего ради, спрашивается, мужикам кровь проливать, бабам слезы, если на смену одним работодателям просто-напросто придут другие работодатели и, словом, христианину точно некуда податься, кроме как на погост. Однако: «смерть смертью, а крышу крой», эту максимум русский человек исповедует искони и точно знает, что единственное настоящее дело – это его природное дело: землю пахать, дома строить, детей кормить, налаживать пути сообщения, а всё прочее – более или менее чепуха.

Но и в этой праведной позиции несть спасения, поскольку огромное большинство народа, которое составляет положительный элемент, занятый не отрицанием и разрушением, а каждодневным созиданием хотя бы из простого меркантильного интереса, слишком уж инертно в политическом отношении, затем что элемент-то весь в работе и ему дела нет до разногласий между либеральными демократами и, скажем, почвенниками с уклоном в каннибализм. Поэтому политикой, то есть отрицанием и разрушением, у нас занимается малахольная молодежь. Заметим, что в эту среду легко могут затесаться и люди пожившие, знающие почем фунт лиха, но почему-то застрявшие в репродуктивном возрасте и недалеко ушедшие от прогульщиков и любителей побузить.

Так что же это за культура такая – малахольная молодежь, которая ввергла нас во II русскую Смуту, в том смысле, что грибок на ногах – тоже культура, и тюремная «феня» – культура, и привычная лебеда. Ответ на этот вопрос как раз содержится в многочисленных декларациях Евгения Базарова, который у Тургенева, скорее всего невольно, вышел фигурой крайне несимпатичной (недаром на автора обиделось все прогрессивное юношество), – ну, просто невежа и баламут, хотя в историческом плане так-таки альбатрос.

Вот почти полный синодик характерных его речений, видимо, некогда подслушанных Иваном Сергеевичем в молодежной среде, поскольку, опять же, сочинять он отроду не умел. Итак...

Базаров: *Порядочный химик в двадцать раз полезней всякого поэта*

Разумеется, нисколько не зорно быть сторонником и пропагандистом точного знания, но до такой степени увлекаться способен только недалекий, малограмотный, взбалмошный человек. Впрочем, это детское заблуждение относительно роли химика и значения поэта отчасти извинительно для уроженца XIX столетия, когда естественные науки только-только набирали силу, но уже приоткрыли сияющую, фантастическую перспективу, сулящую многие блага для несчастного человечества, измученного бедностью, непосильными трудами и беспросветностью бытия. Уже ездили по «чугунке», знали громоотвод, на подходе был «русский свет» Яблочкова, сыворotka от водобоязни, беспроволочный телеграф, воздухоплавание как забавный аттракцион, и оттого наука была таким же утешительным фетишем для уроженца XIX столетия, как и вера в загробный мир.

Понятное дело, в то время трудно, даже невозможно было предугадать, что жизнь не станет прекрасней с изобретением мобильного телефона, а человек совершенней благодаря феномену сверхпроводимости, что невинные опыты гг. Кюри с радием обернутся трагедией Хиросимы, что усилиями «порядочных химиков» планету заполнят полудиоты, которым природой было суждено помереть в годовалом возрасте, что обыкновенная тачка, которую

походя изобрел мудрец Паскаль, замучает потом миллионы з/к в России, что из-за неудержимого прогресса точного знания нашу Землю вот-вот поглотит мировой океан, а в мировом океане прекратится всякая полезная жизнь и несъедобный черноморский катран совсем скоро будет деликатес. Стало быть, наука так неосмотрительна, недалёковидна, что постоянно сеет зло, имея в виду благо, хотя, с другой стороны, она представляет собой занятие вроде бы безвредное, этакое утешение для страдающих патологическим любопытством, но разве благо в том, чтобы снабдить людоеда мобильным телефоном и обезопасить его от разных сторонних бед? Благо в том, чтобы ненавязчиво сориентировать людоеда на похлебку из лебеды. И, кажется, многие наши ученые как-то чувствовали подвох, недаром великий химик Менделеев больше всего любил делать чемоданы, химик Бородин оперы сочинял, генерал Ермолов, тоже в своем роде «химик», обожал переплетное мастерство.

В свою очередь, насчет поэзии давным-давно сложилось такое мнение: что это уникальное и незаменимое снадобье для души. Химик в худшем случае выдумает оружие массового поражения, в лучшем изобретет пенициллин, чтобы продлить существование целому поколению любителей пива, которым, по сути дела, тошно существовать. А Пушкин (его «химик» Базаров не читал, да и читать-то считал мальчишеством) навсегда упразднил в России одиночество – это раз; научил с младых ногтей сочувствовать добру и сторониться зла – это два; поселил в нас умильное чувство по отношению к неброскому нашему пейзажу, русской женщине, душевному складу соотечественника – это три; возбудил в русаке то благородное беспокойство, которое всю жизнь питает порядочного человека и, между прочим, составляет сущность литературы, – это четыре; воспитал в нас неистребимое ощущение прекрасного – это пять. То есть ученый, может быть, и способствует материальному процветанию общества, хотя наши предки утверждали, что «во многие знания многая печали», да ведь поэт-то непосредственно работает на ту божественную метафизику, которая отличает нас от прочих дыханий мира и определяет само понятие – «человек». Не будь химика, – ну, лечились бы мы настоем ромашки и стирали белье печной золой, как наши прабабки, а улечуться вся поэзия, мы и в XXIV веке останемся примитивны и бесчувственны, как дрессированный попугай.

Рискованно утверждать наверняка, но сдается, что не было бы в России ни народовольческого, ни эсеровского, ни белого, ни красного террора, кабы идейные наследники Базарова знали хоть что-нибудь из Пушкина наизусть. На беду, все наши радикалы, за редкими исключениями, невысоко ставили поэзию и вообще предпочтения у них были самые демократические: Желябов обожал химию и Перовскую, Гершуни – химию и пострелять, Ульянов-Ленин питал пристрастие к цирку, но, правда, Иосиф I любил балет.

Базаров: *Мой дед землю пахал*

Что это за индульгенция такая – «мой дед землю пахал», а чей дед ее, спрашивается, не пахал? Ведь все мы, в конце концов, крестьянские дети, во-первых, потому, что Россия испокон веков была земледельческая страна, а во-вторых, потомкам служилого дворянства и аристократии неоткуда нынче взяться, поскольку наши дикие социал-демократы эти два направления еще сто лет тому назад взяли и пресекли.

Но если твои предки по обеим линиям отнюдь не крестьянствовали, а сплошь были бухгалтеры или отличались по землеустройству, то тут и стесняться нечего, и кичиться нечем, потому что в России предки сами по себе, а потомки сами по себе, дед землю пахал, а внук в общественном транспорте кошелек ворует, отец был полярником, а сын вышел в истопники. С другой стороны, сословие землепашцев породило множество замечательных людей, украсивших российский Пантеон, а среди вельмож Долгоруких водились злостные интриганы и подлецы.

Следовательно, ничего хорошего не сказать о молодом человеке, который хвастает перед едва знакомыми людьми своим «низким» или, напротив, аристократическим происхождением, кроме того, что это, по-видимому, мальчишка и пустобрех. Таковые частенько попадают в дурацкое положение из-за своей страсти фразировать общество суждениями, манерами, даже покроем одежды, что, впрочем, и простительно, так как молодость – тяжелая ноша, и принципиальнейшее ее качество – глупость, с которой до поры до времени бывает затруднительно совладать. На то и фундаментальный, самый мучительный из вопросов молодости: дурак я набитый или все-таки не дурак?

Базаров: *А что касается до времени – отчего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня*

Жизнь недостойна человека и вообще устроена таким образом, что всякий работоспособный и добропорядочный индивид во все века, от Иоанна Крестителя, вынужден действовать вопреки веяниям той эпохи, в которую ему довелось родиться, потому что он постоянно не в ладу со своим временем и страной. Даже в лучшую пору существования рода человеческого, в XIX столетии, отмеченном высшими достижениями разума и духа, нельзя было мириться с германским буршеством, наполеоновскими амбициями, англо-саксонским рукоусуйством и многочисленными российскими безобразиями, как то косным самодержавием, крепостничеством, идиотской цензурой, административными высылками, преследованием староверов, взяточничеством, доисторической агротехникой, казнокрадством, телесными наказаниями и обыденной нищетой. Оттого-то работоспособный и добропорядочный человек – это всегда урод в глазах благонамеренных соотечественников, в лучшем случае городской дурачок, которого по-хорошему следовало бы, но как-то совестно наказать.

Действительность, какая она ни будь, разумеется, нисколько не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону в результате противостояния времени и человека, сколько бы последний ни пыжился, изнемогая от чрезмерно высокого мнения о себе. Непротивленцы и опрошенцы, принадлежавшие к секте толстовцев, уж как дружно сплотились против отечественных порядков древнеперсидского образца и традиций российского мордобоя, а дело все равно кончилось ужасами 1905 года, на которые, заметим, сам заводила и великий мудрец ни одной строкой не откликнулся, так как в пику времени сочинял тогда «Посмертные записки старца Федора Кузьмича». Гениальный чудака Николай Федоров, смотритель Румянцевского музея, обещал воскресить всех мертвых, когда-либо живших на земле, а большевики закатали его асфальтом во дворе «Союзмультифильма», что на бывшей Каляевской улице, где теперь ребяташки гоняют мяч; Константин Циолковский, известный всей Калуге городской сумасшедший, который и вправду ангелов видел, двадцать лет парил в эфирах, формируя теорию космических сообщений, а жизнь между тем гнула свое – индустриализация, коллективизация и 58 статья как хирургический инструмент. Сам Господь наш Иисус Христос явил народам величайшее в истории человечества этическое учение, отрицавшее время всякое и вообще, и что же? Да, собственно, ничего. Впрочем, Толстой как раз обмолвился в частном письме именно от 1905 года: «Быть недовольным тем, что творится, все равно что быть недовольным осенью и зимой».

Из этой максимы, в частности, вытекает, что время идет или не идет по каким-то своим, неведомым нам законам и неподвластно никакой воле, ни злой, ни доброй, а посему это мальчишество чистой воды и даже обыкновенное нахальство – претендовать на зависимость времени от того, чего желает твоя нога.

Базаровы XX столетия были люди простые, недалекие, нахрапистые и оттого вздумали перевести проблему в практическую плоскость, то есть на деле подчинить время притязаниям РСДРП и властным соображениям Владимира Ильича. Но поскольку проблема в прак-

тическую плоскость не переводится, большевики закономерно перерезали друг друга в ходе эксперимента, а сам эксперимент, по историческому счету, занял чуть меньше часа, как обеденный перерыв.

Видимо, самое разумное, зрелое отношение со временем таково: оно само по себе, а мы сами по себе, насколько это возможно, и коли время требует от тебя, чтобы в твоём паспорте стоял какой-нибудь дурацкий штамп, то надо бросить собаке кость.

Базаров: *Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе прескверного мнения*

Вот это верно; то есть ничего хорошего в этом нашем национальном свойстве нет как нет, а то верно, что не существует на белом свете другого такого народа, который регулярно, охотно и, главное, с некоторым даже упоением упражнялся бы в несусветной критике на отечественные порядки, свычаи и обычаи соплеменников, вообще на забубенное наше житье-бытьё.

Такое самоедство тем более удивительно, что прочие народы Европы все в той или иной степени нарциссы, прямо-таки изнемогающие от самоуважения, и любой француз вам скажет, что француз – первый человек в мире, с которым может помериться разве что серафим. Между тем Жак-простак, живущий, на наш салтык, в небольшой и сравнительно небогатой стране, которую постоянно гнобят германцы, именно что простак, даже и слишком, а кроме того, он прижимист, мелочно расчетлив, несообщителен и обедает два часа.

Спору нет: русский человек завистник, пьяница, неряха, ненадежный работник, злокачественный фантазер; он и обманет – недорого возьмет, и украдет, и в церковь ходит не каждое воскресенье, и на дармовщинку может съесть килограмм гвоздей. Но однако же поди сыщи другого такого оригинала, который скажет встречному старичку – «отец» и в другой раз прослезится под родную заунывную песню, который способен обстоятельно поговорить о происхождении жизни на Земле и безропотно подарит незнакомому пропойце последний рубль. Замечательно, что, оказавшись он «по щучьему веленью» в какой-нибудь чужой стране, где дорожная полиция взяток не берет, у него вскоре откроется легочная недостаточность, как будто кислорода в воздухе не хватает или как будто организм потребовал срочно выпить и закусить.

Стало быть, и у русского человека есть некоторые основания гордиться своей национальной принадлежностью, так нет же: он, точно его заговорили, самого ничтожного мнения о своей отчизне и о себе.

Так же замечательно, что преемники Евгения Базарова нисколько не симпатизировали этой избыточной рефлексии и презирали русский народ безо всяких оговорок – деятельно, печатно и на словах. Особенно в этом направлении отличались большевики: Ульянов-Ленин, например, писал своим подельникам по РКП(б), дескать, нельзя ли поменять в советском правительстве русских на евреев, а Сталин, в свою очередь, всячески дурачил наших отцов, как детей малых, и уничтожал русаков миллионами, уповая на то, что бабы на Руси здоровы рожать. Ленин хоть кошек любил, а этот обаятельный изверг никого не любил, даром что в любви, сей непростительной слабости для нигилиста, был-таки замечен его мрачный пращур, естествоиспытатель и альбатрос.

Базаров: *Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник*

Природа, конечно, и не храм, и не мастерская, а скорее наша кормилица-поилица и неиссякаемый кладёзь разного рода тайн. Прежде человечество точно поклонялось природе, но со временем поменяло ориентацию по наущению злостных естествоиспытателей и до такой степени ее изуродовало, ограбило, извратило, что сама жизнь на планете поставлена

под вопрос. Дело доходит до того, что скоро дышать будет нечем, питьевая вода вот-вот иссякнет, того и гляди занесет песками некогда цветущие города. И это еще слава богу, что нынешние Базаровы вовремя спохватились и раздумали поворачивать реки вспять, а то мы влипли бы в такую скверную историю, какую даже жутко вообразить. Зато этот неменяемый работник, который три тысячи лет беспардонно копался в утробе матери-природы, добрался до микромира и уже атому покоя не дает, нимало не задумываясь о том, что это в высшей мере опасное, даже смертельно опасное озорство.

Природа много разумней человека, что, впрочем, неудивительно, – у нее моря сами собой очищаются от всякой гадости, которую понанес естествоиспытатель, озоновые дыры самосильно затягиваются, как раны, леса берут на себя дополнительную, почти непосильную нагрузку, и вообще в природе всё так слажено, так премудро подогнано одно под другое, что становится очевидно, как призадуматься: без Промысла дело точно не обошлось. В сущности, ничто так не намекает на бытие Божие (как этот грандиозный феномен ни понимай), причем настоятельно намекает, со всею невозможностью что-нибудь путное возразить, как строение мира, адекватное строению вещества.

Но тогда непонятно, при чем здесь род людской, от которого только и жди, что какой-либо пакости, или человечество – это точно такая плесень, вредный грибок на теле матери-природы, случайно развившийся в ходе эволюции, или тут налицо необходимый контрапункт разумному началу, обеспечивающий движение к какой-то таинственной цели, хотя бы это было движение как бы в потемках и наугад.

Словом, много невнятного, гадательного заключает в себе природа, и только вот что ясно как божий день: человечество большая дура, а мир принадлежит идиотам – это надо принять в расчет. И на данную резкую инвективу нечего возразить, хотя бы потому, что немца Моцарта похоронили в общей могиле для бедных, а немец Шумахер за баснословные деньги катается по кругу на автомобилях и ему поклоняются, как некому божеству.

Базаров: *Исправьте общество, и болезней не будет*

Молодость, хоть биологическая, хоть в смысле расположения ума, это еще и пора простых решений, когда самые мудреные Гордиевы узлы устраняются по примеру Александра Македонского, в российском варианте – при помощи топора. Крыша течет – надо тазик подставить под место протечки, заело социальное неравенство – достаточно вырезать царскую семью и все будет хорошо, любимая ушла к другому – ничего иного не остается, как броситься с десятого этажа.

Насчет социального неравенства – особенный разговор. Поскольку ум и глупость, хитрость и добродушие, упертость и мягкотелость суть в природе вещей, вылечить общество от неравенства невозможно, как невозможно вылечить человека от привычки держаться на двух ногах. Конечно, нетрудно напоить пациента до такой степени, что он рухнет на четвереньки, но это не решение проблемы даже с точки зрения естествоиспытателя, и сколько ни мучились социалисты, сочиняя разные средства для приведения к общему знаменателю умника с дураком, как ни старались большевики уравнивать академика с загульным дворником из Кривоколенного переуллка, – все впустую, потому что академику на роду написано разъезжать в лимузинах и проживать в роскошном особняке. В сущности, социальное равенство – это кабинетная выкладка известного немецкого иудея, всю жизнь существовавшего на подаяния, а еще прежде горячая выдумка французов, которые на равных основаниях тягали под нож гильотины поэтов и генералов, побродяжек и королей.

Разве наоборот: нужно избавить человека от его извечных пороков, и тогда общество станет совершенным, но и эта операция на практике невозможна, поскольку властолюбие, корысть, эгоизм, жестокость – неистребимы в хомо сапиенс, как инстинкт. Уже всеобщее

избирательное право стало нормой везде, кроме Амазонии; уже женщин ничтоже сумняшеся назначают министрами и производят в адмиралы, и ничего; уже русским крестьянам давно раздали паспорта, и, в общем, человеческое сообщество всячески пыжится на ниве социального равенства, а всё есть принцы и нищие, бандиты и миллионеры, поэты и маляры. С другой стороны, уже истлели ботинки Карла Маркса, а социалисты с коммунистами (то и другое по-русски будет «общественник»), эти всё переживают, что у человека два уха, а не четыре, и мечтают поделить поровну несправедливо нажитые капиталы, даром что на каждого жителя планеты кругом-бегом получится по рублю.

Впрочем, с этой публики взятки гладки, все-таки они дети, до глубоких седин дети, которые непонятно о чем думают и сами не ведают, что творят. Оттого в диетических революциях, движениях и смутах новейшего времени по преимуществу замешано студенчество, самая шалопутная часть общества, потому что оно, как говорится, много о себе понимает, едва перешагнув за пределы таблицы умножения, и потому что сидеть на лекциях скучно, и как раз очень весело, забористо – бунтовать.

Существуют некоторые средства хоть как-то поправить дело, а то и впрямь жалко человечество, которое половину жизни бьется, как рыба об лед, а другую половину доживает в черной зависти и горько сетует на судьбу. Однако же и эти средства скорее из номенклатуры мечтательного, например: американцам следует навязать курс русской литературы, у немцев запретить пиво, французам устроить еще одну Великую революцию, чтобы они вспомнили, почему фунт изюму, а в России хорошо бы лишить водительских прав всех юношей и девушек, не достигших сорокалетнего возраста, милицию заменить на Псковскую десантную дивизию, упразднить телевидение как феномен, в каждую семью назначить по сироте.

Базаров: Люди, что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждой отдельной березою

В том-то и беда, что эти ботаники, будь они неладны, выступавшие под личиной ли социалистов-утопистов, анархистов или большевиков, меньше всего интересовались человеком со всем тем, что ему довлеет, и по преимуществу оперировали отвлеченно-широкими понятиями вроде «трудящихся масс», за которыми Иванова, которому жена изменяет, Петрова, пьющего горькую, Сидорова-картежника – было, конечно, не разглядеть. Даже интересно: как часто в трудах Ульянова-Ленина встречается само это существительное – человек? Думается, что нечасто, может быть, наберется две-три okazji на том, поскольку для ботаника Ленина личность была – ничто.

Удивительное дело: люди не работали и не учились, а, главным образом, мечтали о светлом будущем для всего человечества, включая самоедов и туарегов, сколачивали политические партии, издавали газеты, бегали от полиции, томились по тюрьмам, были бездомными и бездетными – словом, вели полумученическую жизнь во имя светлого будущего туарегов, а человека знать не знали и знать не хотели, наивно полагая, что это уже будет поэзия, идеализм, в то время как люди, по-настоящему, – исключительно средство и материал. А что Каин, что Авель, что горбатый, что грамотей – это все равно, главное, чтобы народ злобствовал, слушался и был гол как сокол, иначе воевать ему будет не за что, зазорно и не с руки.

А воевать, по их расчетам, предстояло много, бесшабашно и безжалостно, не так халатно, как парижские коммунары, расстрелявшие, по разным подозрениям, всего-навсего четырнадцать человек.

Базаров: ...ну а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?

Если человек вполне явление природы, то дальше лопуха дело действительно не пойдет. А если не вполне? Если сущность и, главное, происхождение человека представляются настолько загадочными, от века непостижимыми, что как-то не верится в безусловную конечность этой мыслящей субстанции, способной на злодеяния, невозможные в живой природе, и на подвиг самопожертвования, выходящий за рамки естества, и на форменные, самые настоящие чудеса. Во всяком случае, намечается такое правило: если ты ни разу не усомнился в бессмертии души, то ты недостаточно культурный человек, если же время от времени не ощущаешь себя как бесконечность, то недостаточно человек.

Молодежь, за редкими исключениями, все отпетые материалисты, поскольку им по преимуществу интересно то, что можно пощупать, понюхать и увидеть, они не дорожат жизнью и не страшатся смерти, полагая, что это игры такие интересные, жизнь и смерть, они мало думают о высоком, и даже думают ли, нет ли – это еще вопрос. Тогда конечно: плевое дело – жил себе человек, потом помер, то есть прошел через превращение сознания в органическое вещество, потом его закопали в землю, и ничего-то ему больше не остается, как возродиться в качестве лопуха.

Оттого наша малахольная молодежь представляет собой предельно благодатный материал для разного рода проходимцев, орудующих в верхах, потому что она безотказно лезет с голыми руками на пулеметы и вообще способна на самые невероятные деяния, если ее дополнительно напугать. В цивилизованных странах широко известно, что этот опасный элемент нужно держать в струне.

Базаров: Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным... В теперешнее время полезнее всего отрицание – мы отрицаем

Положим, что по-настоящему полезно, а что вредно в положении человека, живущего в порядочном обществе, и по сию пору никто ничего не знает, и прежде никто ничего не знал. Но предположения выдвигались самые разные: Платон считал, что для процветания государства необходимо изгнать за пределы ойкумены всех поэтов как носителей естественного неравенства, неистовый Марат предлагал для встряски вырезать двести тысяч французов, первые социалисты находили спасение в безначалии, подневольном труде и упразднении собственности, буржуазия уповала на вольный рынок, наши большевики рассчитывали на мировую революцию и «энтузиазм широких масс трудящихся», а нынешние естествоиспытатели, испытывающие прежде всего долготерпение народное, исповедуют демократические свободы, от которых покуда одна беда.

И, кажется, никто, кроме тургеневского Базарова, все не утверждал, что для процветания России полезнее всего именно отрицание, которое всякий честный человек должен практиковать как деятельно, например, препарировав лягушек, так и словесно, например, в застольных беседах с отпетыми ретроgrадами, по старинке играющими на виолончели и щеголяющими в крахмальных воротничках.

И кто такие эти «мы» – компания недоучившихся медиков, которые не могут сделать элементарной операции, чтобы не порезаться? Мальчики и девочки, для которых чужая жизнь копейка и своя пятачок? Агрессивные пустозвоны, которые чают воскрешения в качестве лопуха?

И что значит, в сущности, отрицать? Да ничего это не значит, а просто-напросто молодым людям, не знающим, куда себя деть, желательно интересничать, к месту и не к месту демонстрировать свою несусветную оригинальность, допустим, отрицая божественное происхождение Иисуса Христа, хотя эта позиция со времен Ария не оригинальна, или, скажем, отвергая семейный принцип, даром что человек еще до Всемирного потопа был полигамен, как бабуин.

Главное дело в том, что в нашей национальной традиции нет преемственности поколений, что это у нас так повелось от Владимира Святого: пращурьы верят в одно, праотцы в другое, отцы в третье, а дети вообще ни во что не верят, ни в Бога, ни в черта, ни в птичий грай. Между тем только на преемственности поколений и держится всякая развитая цивилизация (общинно-племенное сознание, кстати, тоже), именно потому только и держится, что распоследнему парижскому босяку, пьяненькому и оборванному, доподлинно известно, что красть и драться – это нехорошо.

А в России, чего ни коснись, всё «бабушка надвое сказала», и украсть в другой раз не грех, а молодечество и мордобой – скорее любимый народный спорт, потому что князь Святослав Игоревич исповедовал Перуна, князь Владимир Святославович – Святую Троицу, хлебопашцы – конец света, староверы – двуперстное знамение, Петр I – технический прогресс, социал-демократы – распределение по труду. То есть у нас каждое последующее поколение русаков так или иначе противостояло предыдущему, так или иначе оригинальничало почем зря, то ли по нашей природной взбалмошности, то ли оттого, что в России недолюбливают отцов. По этой причине у нас в генеральских семьях росли бомбисты вроде Софьи Перовской, которая распорядилась седьмым покушением на царя.

Еще беда в том, что из-за распри между поколениями в России так и не наладилась система воспитания молодежи, и, по крайней мере, в новейшие времена ее за недосугом никто и никак не воспитывает – ни примером, ни увещанием, ни на русских народных сказках, а разве что подзатыльником, отвешенным сгоряча. По этой причине молодежь не знает самых простых вещей: что дамы не курят на ходу, нельзя первому подавать руку старшим, на парковых скамейках не сидят верхом, где написано «выход», там выход, а где «вход» – вход.

Что же остается нашим детям, хотя бы и маловосприимчивым, которым взрослые не передали в наследство ни одной догмы, – только отрицать; они и отрицают всё и вся, в частности, наше бывшее бескорыстие, любовь к знанию, культуру речи, обиходный идеализм.

Однако еще теплится надежда, что русский народ не сгинет с лица Земли на манер древних хеттов, как именно народ и как именно народ русский, поскольку и детям наших детей тоже предназначено отрицать.

Спрашивается: зачем понадобилось тревожить тень великого национального писателя, привлекать малоактуальный по нынешним временам персонаж из старомодного романа «Отцы и дети», трактовать так и сяк его легкомысленные речения, а также костить на чем свет стоит несчастную молодежь? А вот зачем...

Чтобы к гадалке не ходить. Гадалка обманет, какие-нибудь гадости напроорочит, не с той ноги вставши, а «впередсмотрящий» Иван Тургенев не подведет; то есть ты взял в руки старомодный роман «Отцы и дети», провалялся с ним полдня на диване, и к вечеру уже ясно, что ожидается впереди. А всё потому, что российская словесность – уникальное явление в контексте мировой культуры; ты хоть всего Стендаля прочитай, все равно не скажешь, как, в конце концов, отзовется на французской кухне пожар Москвы, а у нас из точки с запятой (между прочим, знака препинания, неведомого в прочих языках мира) можно вывести крушение всех начал.

В общем, литература на то она и литература, чтобы вразумлять подростков и юношество, составляющих 99 % населения России, в частности, через предвидение того, что ожидается впереди. Если вычитал у Достоевского про одичавшего студента Родиона Раскольникова, то никаких закладчиков в квартиру уже не впустишь, если вычитал у Тургенева про зловещего студента Евгения Базарова, то, стало быть, надо сухари сушить и перебираться с семейством в глушь, подальше от больших городов, где, главным образом, и свирепствует малахольная молодежь.

А ведь альбатрос Базаров все реет над Россией в своем черном балахоне с кистями, и еще неизвестно, что именно предвещает этот полет, авгуров совсем не осталось, – может быть, обойдется, а может быть, конец света на носу в том смысле, что русские тоже наперечет, и если нашей нации суждено спастись, то единственно благодаря чудесному легкомыслию, или, вернее, неиссякаемой вероспособности в лучшее будущее, которую нам предоставили Небеса.

Вспоминается припев старинной солдатской песни:

Очень, братцы, чижало,
Ну а в общем, ничего...

2010

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

*В этом мире почти никого нет, кроме идиотов и сумасшедших.
Шопенгауэр*

Все несчастья от дураков. Сколько бы наши неисчислимые беды ни валили на объективные законы истории, сколько бы ни оправдывали невосполнимые потери и протори неблагоприятным стечением обстоятельств, как бы ни пытались объяснить неискоренимые предрассудки и заблуждения промыслом дьявола, – все несчастья от дураков.

Даром что человечество существует около двух миллионов лет и достигло фантастического прогресса в области науки и техники, додумалось до многих премудростей, исписало мегатонны бумаги, изощрилось в неземной музыке, всё дурак представляет собой самый деятельный подвид человека и остается в подавляющем большинстве. Иной раз даже подумается, что на нашей несчастной планете действительно никого нет, кроме дураков, потому что умные люди наострились прятаться и их не так-то легко найти.

Хотя дурак дураку рознь. Бывают остолопы от природы, по причине превратного обмена веществ, в силу романтических настроений, неполного начального образования, простой человеческой доверчивости и от некуда себя деть. Вообще это очень широкое понятие, «остолоп»: человек может запросто помножить четыре на четыре и свободно отличает черное от белого, но в то же время он готов вручить свою судьбу первому попавшемуся прохиндею из разговорчивых, бывает осмотрителен по понедельникам и рассеян по четвергам и пуще смерти боится тринадцатого числа.

К тому же наивный род людской до того запутали разные глашатаи и рапсоды, что он почитает гениями таких злокачественных болванов, которым по-настоящему разумный человек руки бы не протянул. Вот французы носятся со своим Наполеоном как дурень с писаной торбой, а ведь, по здравому рассуждению, это был просто выдающийся авантюрист, и при этом неумен до такой степени, что вторгся в страну, которую физически невозможно было покорить, обрек на неминуемую гибель полмиллиона своих солдат, велел снять чугунный крест с Ивана Великого, полагая, что он из литого золота, сочинял в Москве предписания парижским театрам, в то время как его воинство тысячами гибло от голода, холода и в огне.

Немцы тоже хороши: четырнадцать миллионов обыкновенных дураков выбрали главой государства необыкновенного дурака, и в результате Германия перестала было существовать.

О наших и говорить нечего; то они в три дня сметут тысячелетнее самодержавие и вручат власть незадавшимся адвокатам, которые и уездом не в состоянии управлять, то они отвоюют Россию у юнкеров в пользу большевиков, а те после устроят им кровавую баню и концентрационный лагерь от Бреста до Колымы, то грудью встанут на защиту демократической республики расхитителей и пройдох; они даже готовы бить в ладоши и прыгать от радости, если им с «высокой трибуны» пообещать бесплатную раздачу провизии и штанов.

И все почему-то истово веруют в лучшее будущее, в то, что грядущая пятница обязательно будет счастливее текущего четверга; то есть не «почему-то», а именно потому, что эти оптимисты суть неизлечимые остолопы, да еще малограмотные и с амбициями, какими некогда слыли наши сельские писаря.

Это правда: кое-какой прогресс налицо, если считать от царя Ирода, – государственных преступников уже публично не жарят на постном масле, вот и паровоз давеча изобрели, а где Платоны и Невтоны XXI-го столетия, предвосхищенные Ломоносовым? где булка за

семь копеек? где городовые, которые взятки не берут? ученые барышни, живущие по заповеди «Умри, но не отдавай поцелуй без любви»? где подвижники, герои, бессребреники, книгочеи, рафинированные интеллигенты, которыми некогда славилась наша Русь? В том-то, выходит, и весь прогресс, что Европу заполонили дикари с мобильными телефонами, при помощи которых только предохраняться нельзя, а все остальное можно, включая освоение навыков грабежа.

Напротив, история показывает: чем дальше, тем хуже, по крайней мере, так же скверно, только на новый лад. Прикажет долго жить император Марк Аврелий, мыслитель и гуманист, а престол унаследует его сын Коммод, изверг и законченный идиот. Людовик XVI Бьянэмэ, большой любитель слесарного дела, во все свое царствование ни одного человека не отправил на эшафот, а якобинцы, которые пришли ему на смену, безвинно казнили полторы тысячи человек и бесчисленно священнослужителей утопили в Луаре, а Наполеоне Буонапарте сдуру угробил на полях чести чуть ли не половину мужского населения Франции, всего лишь на тот предмет, чтобы Англии досадить.

Опять же возьмем Россию: когда-то были бублики за одну копейку медью, семь тысяч повешенных за государственные преступления во всю историю государственности, музыкальные утренники, домашние спектакли, московское произношение и за пять рублей ассигнациями общедоступные иностранные паспорта; потом, при так называемой рабоче-крестьянской власти, была хроническая бескормица, тридцатиградусная «рыковка», партячейки, допросы с пристрастием, которые еще государь Петр III запретил, выездные комиссии и несочтенные миллионы невинно убиенных по подвалам и лагерям; еще каких-нибудь двадцать лет тому назад в России не было нищих, старики ездили к морю отдыхать, в верховьях Волги водилась стерлядь, а нынче рыболовам в радость уклеи и пескари.

То есть решительно непонятно, на чем основан оптимизм наших оптимистов, в сущности, представляющий собой легкую форму идиотии, тем более что вождельная демократическая республика, которая наследовала режиму большевиков, отобрала у кого работу, у кого настоящую пенсию, и у огромного большинства – месяц в Крыму, бесплатную медицину, ту же булку за семь копеек и любимую народную телепередачу про «огонек». Правда, теперь можно за порядочную мзду выехать хоть к черту на рога и уже никого не казнят по подвалам за скользкие убеждения, но зато на улицах отстреливают зазевавшихся прохожих, политиканов и бандитов, принадлежащих к недружественным кругам.

Особенно сильно огорчают оптимисты из наших первых социал-демократов, которые жили и орудовали совсем недавно, каких-то сто лет тому назад, когда уже были взрослыми людьми наши прадеды и прабабки, обожавшие Тургенева и слыхом не слыхавшие про «Критику Готской программы» и «Капитал». Еще знаменитый народник-максималист Петр Ткачев серьезно предлагал обезглавить всех подданных Российской империи старше 25 лет, чтобы в стране восторжествовали свобода, равенство и братство, и с тех пор наша социал-демократия всё склонялась к экстравагантным методам существования и борьбы. Никто не работал, все носили клочки, как уголовники, жили по подложным паспортам, не женились и не заводили детей, то и дело бегали за границу, грабили банки, отстреливали государственных чиновников – и всё того ради, чтобы учредить идеальный миропорядок, основанный на свободе, равенстве и братстве плюс подневольный труд на государство и архаровцы из Чека. Называлась эта конструкция «диктатурой пролетариата», и взрослые мужики с мужеподобными подельницами собирались соорудить ее в стране, где и пролетариата-то, считай, не было, а были сто пятьдесят миллионов полудиках, нищих крестьян, которые сохами кое-как ковыряли землю и объяснялись на испорченном языке.

На что рассчитывали эти инсургенты, – понять нельзя. Разве что на чудо, – и это чудо произошло; сверхъестественное было чисто русского производства: в феврале 1917 года петроградские бабы, возмущенные перебоями с хлебопоставками, упразднили самодержавие

и, в конце концов, власть свалилась прямо в руки большевикам, которые распорядились ею на свой салтык.

Интересное дело: восемьдесят с лишним лет понадобилось для того, чтобы наши тугодумы укрепились в том мнении, что штука не в форме собственности на средства производства, а в дураке; он способен извратить самое благое начинание, и работать-то он по настоящему не умеет, и пьет без меры, и расточитель, и вороват... Распорядители на Западе поживее будут: например, совсем немного времени потребовалось Уинстону Черчиллю, чтобы сообразить: «Добившись демократии, мы не имеем ничего, кроме войн»; и даже такая недальновидная злыдня, как Адольф Шикльгрубер-Гитлер, уже в ноябре 41-го года признавался своим соратникам: «Напав на Россию, мы толкнули дверь, не зная, что за ней находится», – а так, в общем-то, что у них, что у нас, распорядители не ведают, что творят, и разве задним умом крепки, как тот недалекий мужик, который не перекрестится, покуда не грянет гром.

Стало быть, все несчастья от дураков. Этот императив наводит на подозрение, что, видимо, род людской еще очень молод и, по человеческим меркам, ему сейчас примерно тринадцать лет. А что такое отрок в тринадцать лет? Это шалун, бездельник, неслух, немного садист, гулена, но прежде всего дурак. Он не знает простых вещей, плаксив и вспыльчив, ни во что не ставит жизнь, испытывает безотчетную страсть ко всяческому разрушению и не преминет обидеть того, кто слабей его. Не таково ли человечество вообще, которое со времен руинизации Карфагена демонстрирует сказочное легкомыслие, ратоборствуя за «сена клок», насилюя мать-природу, изнывая от губельного любопытства, сулящего непредсказуемые последствия, самосильно созидавая Царствие Божие на земле? И ведь мало кто задумывается о том, какие монбланы культуры, сколько народов и этносов, соций и государств растворились через эти проделки в вечном небытии. Во всяком случае, поэзия уже ушла из человеческого обихода и, может быть, навсегда.

С другой стороны, принимая во внимание так называемые *задатки*, хотя бы вековечное стремление людей к вящему совершенству, которое обозначилось, например, в отважных, и даже отчаянно отважных социальных экспериментах и целых библиотеках по этике и эстетике, невольно приходишь к заключению, что дело далеко не кончено и у *homo sapiens* еще многое впереди. Правда, дальнейшее становление человека как именно человека – это процесс путаный, криволинейный и, скажем, в ближайшем будущем народы скорее страдают от деволуции, то есть от кризиса культуры и гуманистических начал, составляющих самую нашу суть. Вот не так давно у нас в России сделали шаг назад, в направлении Адама и Евы, похерив социализм, вместо того чтобы сделать из него конфетку, но зато русские пройдут, наконец, школу капиталистических отношений, научатся работать, держать слово, считать копейку, спокойно относиться к чужому добру и «брать на грудь» не больше стакана в день. В свою очередь, Запад за это время, может быть, устанет от вечной гонки, от стремления к наживе во что бы то ни стало, потребительства как фетиша, распрей между хозяином и работником, демократических институтов, которые отнюдь не решают коренных вопросов жизни, и впадет, дай им бог, в меланхолию, предвестницу осмысленного взгляда на бытие. Даже благодушные и немного наивные американцы, которые считают Голливуд культурной столицей мира, может быть, расплюются с кинематографом и призадумаются, как бы им выкроить время Чехова почитать.

Не исключено, что на пути к вящему совершенству человечество ожидают еще и ужасные катастрофы, что лет этак через двести-триста грянет мировой энергетический кризис, электростанции остановятся, свет в городах потухнет, заводы замрут и нужно будет снова печься о лошадях. Тогда компьютеры, навигаторы, мобильные телефоны и прочее железо окажется на свалке, а в домах у землян явятся стеариновые свечи, дрова, пасьянс и музицирование по вечерам, возродятся позабытый эпистолярный жанр, путешествия *на переклад-*

ных, практика сумерничанья, публичные лекции и все прочее, что некогда было так дорого просвещенному русаку. Но вообще это был бы такой удар по современному способу мышления, что человек невольно угомонился бы как «царь природы», первопроходец самоуничтожения и заметно пошатнулся бы в мнении о себе.

А затем что-нибудь еще экстраординарное произойдет, положим, какой-нибудь новый Менделеев откроет способ добывать энергию из атмосферы или как-то из-под земли, и мало-помалу наладится новый человек, который с испугу не так дорожит комфортом, как выживаемостью культурных традиций, гордится неосязаемым государством, отнюдь не манкирует гужевой тягой и почтовым сообщением, сначала озабочен продолжением рода людского и только потом учетной ставкой на капитал. Словом, как писал Чехов: «Ежели зайца бить, он спички может зажигать».

Дальнейшая эволюция человека, от нынешнего балбеса до более или менее культурного существа, может затронуть даже его физический облик, например, со временем возьмут да исчезнут остатки волосяного покрова, и наши красотки будут носить что-нибудь совсем чудное на головах. Или такой вопрос: зачем человеку будущего десять пальцев на руках, если за него все делают машины, а он только мозгами шевелит, ему и двух пальцев хватит компьютером заниматься, или даже одного – в носу ковырять.

Но главное – человек неизбежно должен будет... не то что поумнеть, а как-то серьезно очеловечиться в ходе дальнейшей эволюции и в силу объективной необходимости, и потому что у него другого выхода нет – поступательное движение или смерть. Если люди по-прежнему будут делать ставку на «темную лошадку» научно-технического прогресса, потакать маниакально устроенным изобретателям и ученым, которые веками уводят нас в сторону от действительно насущных вопросов существования, если люди по-прежнему будут жить интересами задницы и желудка, возделая, по примеру древних римлян, только «хлеба и зрелищ», то вырождение *homo sapiens* неизбежно и он, как саблезубый тигр, рано или поздно исчезнет с лица земли. Недаром дело дошло уже до того, что на футбольных стадионах то и дело разгораются кровавые сражения, стариков походя режут за авоську с продуктами, а благодаря блестящим успехам педиатрии у нас каждый третий ребенок – олигофрен.

В том-то всё и дело, что человек замыслен не как субъект прямоходящий и способный подвести газ к избе бабы Нади, а как высшая форма существования материи, обреченная воплотиться в максимуме возможностей естества. Газом бабу Надю обеспечить – это, конечно, надо, но станет ли она от этого добрее, человеколюбивей или, как встарь, будет выплескивать помои соседу за забор и материть свою корову Зорьку за то, что она дает неполноценное молоко?

Между тем самые светлые умы прошлого, включая Гоголя и Чехова, издавна чаяли постепенного улучшения нашей породы, идущего в ногу с успехами науки и техники, хотя это и не обязательно, потому что гению ясно как никому: если наш предок смог возвыситься от Каина до Паскаля, то человек есть совершенство, которому что-то мешает воплотиться в максимуме возможностей естества. Но что именно – вот вопрос: рудимент ли животного начала? каверзный ход истории? или дурь?

Видимо, все же дурь. Даже деревенский юридивый понимает, что обижать птичек нехорошо, а форменный дурак ничего не понимает: ни что футбол – это прежде всего развлечение для юнцов с дурными наклонностями, ни что растить хлеб в казахской степи будет себе дороже, ни что девятиграммовая пуля – совсем не последний аргумент, ни что Интернет – прибежище идиотов, ни что наша женщина – высшее существо.

Во всяком случае, у нас и поныне процветают спортсмены и пивоварение, а в загоне школа, семейные ценности, искусство и литература, то есть именно то, что напрямую способствует превращению человека по форме в человека по существу. Факт, как говорится, тот, что наш русачок, вопреки предсказанию Гоголя, так и не стал и покуда не собирается стано-

виться таким же, как Пушкин, феноменом таланта и красоты, а даже наоборот: нынешние по большей части злы, легкомысленны и не знают самых простых вещей.

Это не удивительно, поскольку каково общество, таковы и люди, «какие сани, такие и сами», и оттого мальчишки и девочки, нынче гоняющие мяч в свое удовольствие, хоть теннисный, хоть какой, получают со всех сторон баснословные миллионы, а поэты и мыслители без малого рыскают по помойкам и чувствуют себя чужаками в родной стране.

А все почему? – все потому, что покуда безумие правит бал, что наша цивилизация временно ориентирована на подростка и дурака.

2010

НОВАЯ «БУКОЛИКА», ИЛИ ПРЕЛЕСТИ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ

Предчувствую, что в скором времени начнется обратная миграция населения нашей бескрайней отчизны, из города в деревню, если она уже исподволь не началась, затронув самый ответственный, мыслящий элемент.

Ну что город, по крайней мере в российской редакции? – вонь, грязь, бандиты, толчея в метро, насморк, отравленная вода, дороговизна, игорные заведения, нищие, проститутки, полжизни в пробках, психопаты, стаи бродячих собак, аллергия, матерные инскрипции на заборах, азиаты, мороженный минтай, выхлопные газы плюс утомительное одиночество, когда положительно некому преклонить голову на плечо. Еще Вергилий намекал в своей «Буколике»: город выдумали аферисты и торгаши.

То ли дело деревня – волшебное учреждение, само человеколюбие и чистая благодать. Допустим, в каких-нибудь ста пятидесяти километрах от мегаполиса и в тридцати с небольшим от районного городка стоит себе по-над тихой речкой десяток-другой дворов, которые с раннего утра, едва развидняется, пускают в небо пушистые печные дымы и выглядят так невозмутимо, умиротворенно, как будто нет на свете ни метро, ни уличной толчеи, ни бандитов, ни даже районного городка.

В воздухе благоухание, поскольку ближайшая фабричная труба воняет в тридцати с небольшим километрах к северо-западу, а проклятые автомобили наперечет: у Вани Шувалова, участкового милиционера Саши Горячева и у пожарной команды из трех бойцов; если Горячев для порядка проедет по деревне на своем «уазике», то некоторое время нечем будет дышать. Воздух благоухает, смотря по сезону и по погоде, то яблочным цветом в качестве преобладающей интонации, то чистым дыханием разнотравья, то грибным духом, даже если грибы еще не проклюнулись или уже сошли, то прелой листвой, то речкой в первые холода, то настоем лесной хвои, когда идут продолжительные дожди. Вода в деревне именно что живая – и в колодце, и в ключах, бьющих пониже выходов известняка, и в самой речке, темно-прозрачной, как тонированное стекло. Толчеи тут не бывает, разумеется, никакой, даже когда из района приезжает автолавка, торгующая с колес хлебом, консервами, макаронами и прочими продуктами питания, так как народа в деревне кот наплакал и давно разъехалась кто куда полоумная сельская молодежь. Разве в другой раз мужики соберутся покурить на бревнах, которые всё никак не пустят на новые электрические столбы. Оттого и тишина здесь такая, что ничего не слышно, кроме урчания в животе.

Про бандитов тоже ничего не слышать, и если случаются в деревне и по соседству какие-нибудь житейские трагедии, то обыкновенно домашнего происхождения, без участия внешних сил; ну, мужик сдуру плеснет в топку печки полканистры бензина и сгорит заживо в своей избе, ну, кто-нибудь спьяну утонет в пруду, со всех сторон заросшем осокой, где домашние утки выгуливают утят.

Что до насморка: в деревне народ страдает разными хворями, от стенокардии до цирроза печени, но насморков не бывает, поскольку тут наблюдается иной, отчасти загадочный теплообмен между природой и человеком, и если в мегаполисе при +5 градусах по Цельсию народ влезает в демисезонные пальто, то деревенские щеголяют в одних майках – и ничего. Однако на всякий неординарный случай в каждой избе имеется русская печь, которая топится сутками, и если каждые полчаса забираться на нее вместе с пожизненно желанной женой, страдающей бронхитом или воспалением легких, то выздоровление гарантировано в девяти эпизодах из десяти.

И мороженого минтая тут не едят. Здешние деревенские через одного заядлые рыболовы и более или менее регулярно обеспечивают свои семьи лебедом убедительных размеров, пятнистой щукой толщиной с порядочное полено, даже налимом и хариусом, составляющими нынче большую редкость, которые все вместе идут в жаркое и на уху. Надо заметить, что парная речная рыба – это такой деликатес, с которым не идут в сравнение ни печеные устрицы, ни жареные улитки под «божоле».

О деревенской кухне разговор особый. Самое существенное ее преимущество состоит в том, что все свое: овощи, фрукты, молоко и всяческие молочные производные, яйца, мясо, зелень, кое-что из экзотики, как то барбарис для плова или хмель, пиво варить, – словом, всё, за исключением спичек, соли и табака. Причем эта продукция выращена не на селитре, из которой порох делают, а на форменном коровьем навозе, которого в округе невпроворот. Оттого деревенская пища особенно аппетитна (главным образом потому, что всё своё), питательна и вкусна.

Взять, к примеру, «крестьянскую» яичницу: если зарядить сковородку салом, нарезанным толстенькими прямоугольниками, вареной картошкой, соленым огурцом, луком, чесноком, мелко порубленной зеленью и залить всё это дело яйцами, взбитыми со сметаной, то ваш механизатор будет сыт и трудоспособен, как ученый сиамский слон. Или вот уха – это песня, а не уха: сначала варишь в чем попало половину курицы, которая после пойдет в салат «оливье», затем закладываешь разную рыбную мелочь в марлевом мешочке (ее с удовольствием те же куры съедят), картошку, морковь, обжаренный лук, два-три помидора, каковые, как сварятся, нужно будет очистить и растолочь, потом запускаешь крупные куски парной рыбы, наконец, вливаешь в уху граненый стакан водки, и в результате получается экстренная, по-настоящему праздничная еда.

Водку как таковую в сельских условиях приятней всего закусывать сырыми яйцами, чуть присыпанными крупной солью, какая идет на засолку капусты и огурцов. Бывало, устроишься под старой яблоней, помнящей еще германское нашествие, выпьешь с товарищем стаканчик русского хлебного вина и закусишь сырым яйцом, после зачерпнешь деревянной ложкой дозу пламенной ухи, и – как будто вдруг солнце засияло ярче, и словно у тебя на челе прорезались дополнительные, всевидящие глаза. Тотчас захочется о наболевшем поговорить; скажешь товарищу:

– В городах теперь идет передел собственности, а у нас пока, слава тебе Господи, тишина.

Товарищ откликнется:

– Вот именно что пока! У нас в колхозе раньше было две с половиной тысячи гектаров угодий, а что теперь?.. Сообщаю, что теперь: ровно тысячу гектаров норовят у нас оттяпать какие-то акционеры темного происхождения, и ты обрати внимание – за гроши! Народ, понятное дело, волнуется; такое настроение, что прямо руки тянутся к топору!

Скажешь в ответ:

– Тут уж ничего не поделаешь, потому что в стране произошел контрреволюционный переворот. А исторический процесс – это стихия, это такой селевой поток. Терпеть надо. «Бог терпел, и нам велел».

– Терпеть, конечно, придется...

– Главное, как для кармы-то хорошо!

В округе, действительно, кто-то неугомонно скупает крестьянские паи, пользуясь простодушием сельского населения, которое отдает свои десять гектаров пашни чуть ли не за зеркальца и бусы, как туземные жители каких-нибудь Соломоновых островов. Расставшись с наделом, эти бедолаги автоматически выбывают из сословия, и если не работают в колхозе или хозяйство давно разорилось, то бродят день-деньской по деревне, околачиваются у пожарного депо, сидят безвылазно по домам, а то прохлаждаются на бревнах, заготовленных

под электрические столбы. Проедет мимо на своем «уазике» участковый Горячев, мужики его хором приветствуют:

– Здорово, Сашок!

Тот в ответ:

– Здорово, «власовцы», как дела!

В отличие от полоумной сельской молодежи, которая задолго до выпускного бала «вострит лыжи» в сторону мегаполисов, раскассированное крестьянство, в общем-то, неохотно разбредается по рабочим поселкам и городам. Наверное, их удерживает привычка к привольной деревенской жизни, дорогие могилы, кое-какая недвижимость, но главное – огород. Что ни говори, а даже и лишившись всего, кроме дедовской избы и двадцати соток под картошку, можно худо-бедно существовать. Кроме того, у буколического способа бытия есть еще и такие капитальные преимущества: трудно спиться, потому что ближайший магазин, торгующий горячительными напитками, орудует в значительном отдалении, в селе Никольском, куда особенно не находишься, и хотя «для бешеной собаки семь верст не околица», преодолеть эти семь верст пространства не позволяет даже несильно отравленный организм; во-вторых, учеников в местной школе раз-два и обчелся, по пять-шесть человек в классе, и не приготовить домашнее задание можно разве под тем предлогом, что будто бы накануне сторела твоя изба. Оттого народ в деревне растет грамотный, трактористы Вернадского читают, но, правда, все как один слабо разбираются в политической экономии и их бывает легко надуть.

Словом, это удивительно, что наши люди все еще прозябают по городам и никак не хлынут семьями в благословенные буколические места. Ведь сто очков вперед дает деревня прокуренным квартирам, в которых негде повернуться, загаженным подъездам и асфальтовым дворам, оккупированным автовладельцами, куда бывает боязно выйти с наступлением темноты. Такая консервативность тем более удивительна, что денег по деревенской жизни нужно совсем немного и отставной горожанин легко протянул бы на свою жалкую пенсию, особенно в тех случаях, когда жилище ничего не стоит, на задах имеется огород, электричество дешево, на бензин тратиться не надо, вода своя.

Молодым, правда, придется трудней, потому что в русской деревне пресловутые провайдеры, брокеры, топ-менеджеры, мерчандайзеры не нужны. Бывает, нужны скотники, механизаторы, ремонтники, плотники, электрики, а бывает, что и вообще никто не нужен, поскольку хозяйство, некогда перебивавшееся с петельки на пуговку, постепенно разобрали «на кирпичи». Но ведь на то и смекалка, чтобы придумать себе какое-нибудь полезное занятие, обеспечивающее хлеб насущный, – можно, например, выращивать виргинский табак в теплицах, павлинов разводить, учить деревенских детишек восточным единоборствам, политикой подзаяться в районном масштабе (тоже дело хлебное, и весьма), можно, наконец, кроссворды сочинять, которые гарантированно пойдут в сельской местности нарасхват. Впрочем, серьезному мужику ничто не помешает восстановиться в крестьянском сословии сто пятьдесят лет спустя после кончины папрадедушки-хлебороба, то есть записаться в колхоз землю пахать, тем более что в городе ты изо дня в день возжался с ненужными бумажками и препирался со спичрайтером-дураком, тем более что нет ничего увлекательней, даже поэтичней земледельческого труда. Представьте себе: раннее утро, полям вокруг края не видно, земля из-под лемеха валит жирная, как шоколадное масло, в сумке припасена на завтрак краюха домашнего хлеба, шмат сала, бутылка парного молока, и на сто пятьдесят верст кругом ни одного спичрайтера-дурака.

В крайнем случае, можно отважиться и на кое-какие жертвы, потому что деревенская жизнь спасительна для физического здоровья и особенно целительна для души. Представьте себе: поднимаешься ни свет ни заря (кто любит жить, тот встает чуть свет), умоешься у ручья холодной-прехолодной водой, от которой в другой раз зубы сводит, и оглядишься

по сторонам: солнце только-только поднимается из-за леса, над рекой стелется густой туман, точно паровоз прошел, воздух напоен райскими запахами, слышно, как дятел оттягивает свою дробь; вон ежик пробежал с яблоком на иголках, остановился, по-свойски на тебя поглядел и пустился дальше, слегка переваливаясь с боку на бок и семеня. Тут уж подумается не об ипотеке, не о дисконте на шанхайскую биржу, а, например, о том, что ежик такое же произведение природы, как и ты, только безвредное, что и он по-своему хозяин этих двадцати соток и, можно сказать, сосед. Вообще в деревне у человека совсем другие, именно свойские отношения с живой природой и неживой, положим, дождь в городе – это наказание, а в деревне если не дар Божий, то по крайней мере что-то биографическое, часть жизни, составная повседневности, как размолвка с женой, – моросит? ну и пусть себе моросит.

В свою очередь, животные ведут себя в деревне как-то по-человечески, отчасти экстравагантно, в особенности коты. При соседях, которые зашли, что называется, «на огонек», ваш пушистый питомец обязательно устроит показательное акробатическое выступление, а на бис может выбраться из дома через дымоход и картинно присесть на печной трубе. Собаки все на удивление дружелюбны, даже «кавказцы», и наши младенцы обожают играть с огромным ротвейлером по кличке Варяг, который понимает команды на нескольких языках. Если привязать козла возле стога сена, то на месяц-другой можно о нем забыть.

Кстати о соседях; сосед в деревне – это что-то вроде дальнего родственника, а не безымянное существо, с которым иногда раскланиваешься по утрам, и не полторы тысячи мужчин и женщин, живущих с тобой под одной крышей, даром что тебе, бывает, некому преклонить голову на плечо. Соседей на деревне и любят, и недолюбливают, – это случается, как всякое случается в очень большой семье. Однако же все друг друга знают по именам-отчествам, все в курсе прошлого, настоящего и даже отчасти грядущего любого однодеревенца, праздники и торжества справляются всем электоратом, двери запираются только в случае продолжительной отлучки, адюльтеры исключены. Где-нибудь поблизости, может быть, и дерутся дрекольем, и соседских собак травят, и дрова друг у друга воруют, и пьют безобразно, – но не у нас.

Предчувствую: если способ существования в нашей деревне – норма, если будущее за нами, то рано или поздно Московское правительство останется не у дел.

2009

Переходя поле

СТАРУХА

*Жаль, что нельзя одновременно подсматривать и подслушивать
через замочную скважину.*

Агата Кристи

Вообще старухи премерзейшие существа. Они злорадны, нечистоплотны, капризны, подозрительны, часто бывают отмечены некой сумасшедшинкой и любят повсюду совать свой нос. Впрочем, встречаются приятные исключения, но они такая же редкость, как сиамские близнецы.

Вот об одной из таких феноменальных старух и пойдет рассказ.

Жила-была в Москве, в 3-м Монетчиковом переулке весьма пожилая дама по фамилии Уголкова, по имени-отчеству Антонина Петровна, по прозвищу Василек; это прозвище соседки дали ей потому, что даже в преклонные годы у нее были темно-голубые глаза, похожие цветом на наши полевые российские васильки. В те сравнительно далекие уже годы, когда женщины носили муфты из чернобурки, а беднота приторачивала бечевками подошвы сапог, чтобы они часом не отвалились, почему-то всем давали прозвища, даже первым лицам государства, например, у Сталина прозвище было Батя, а у Калинина – Стрекозел.

В сущности, Антонина Петровна была даже не пожилая, а прямо древняя старуха, и в детские свои годы еще застала тайные сходки социал-демократов, когда жила в Петрограде с мачехой и отцом. В 1915, что ли, году в их квартире на Офицерской улице как-то собрался кружок эсдеков-большевиков; отец запер Антонину Петровну в темной комнате для прислуги, однако же она отлично слышала через замочную скважину взрослые сердитые голоса.

Кто-то вещал. По всему видно, товарищи, что феодально-буржуазной России со дня на день придет конец. Грядет социальная революция, предсказанная Карлом Марксом, она уже на пороге, она уже грозно стучится в дверь.

Другой голос. Это еще бабушка надвое сказала. Где революционная ситуация, где кризис царизма, где боевые отряды пролетариата, где, наконец, сам-то пролетариат?!

Третий голос. Я тоже считаю, товарищи, что в наши дни выступление было бы преждевременным и не в масть. Тем более что капитализм в России не исчерпал своего потенциала, что он еще остается прогрессивной силой, хотя, конечно, добра от него не жди.

Кто-то. Это прямо оппортунизм какой-то, и вообще товарищ поет с голоса классового врага. Царя надо убить – вот тебе и революционная ситуация, вот тебе и коренной исторический поворот!..

Антонина Петровна слушала и ужасалась; особенно ее потряс тезис насчет покушения на царя. В двери комнаты для прислуги с внешней стороны торчал ключ, но она живо представляла себе бородатых дядек с оскаленными зубами, которыми они прикусили кухонные ножи. Ей очень хотелось поделиться своим ужасом с соседом Колькой Померанцевым, уже большим мальчиком и гимназистом, то есть, собственно говоря, донести на злодеев, но она почему-то не донесла.

А в восемнадцатом году семья переехала в Москву вместе с новым правительством, поскольку отец Антонины Петровны был назначен заместителем Цурюпы, наркома продовольствия, позже отец строил Орехово-Зуевскую электростанцию, проходил по делу Промпартии и угодил в политизолятор, а еще позже его расстреляли за саботаж.

Уже в дни нашей молодости, или около того, Антонина Петровна проживала в Москве в отдельной однокомнатной квартирке, что по тем временам считалось неслыханной роскошью, поскольку вся страна мыкалась по баракам, коммуналкам и полуподвалам, где электричество жгли с утра до вечера и крысы не обращали внимания на людей. Жила она одна, если не считать кота по кличке Япончик, потому что он был вор, хулиган и франт. Прежде с ней делила жилплощадь ее старая компаньонка Верочка Милославская, с которой они от скуки раскладывали пасьянс «Могила Наполеона» или читали друг другу вслух. Но что-то после денежной реформы 47-го года Верочка внезапно помутилась в рассудке и ее увезли в какое-то специальное заведение для престарелых умалишенных, где она вскорости померла.

Еще прежде Антонина Петровна, уже овдовевшая, жила в Кривоколенном переулке, в большой коммунальной квартире на семь семей, вместе с дочерью-невестой, двумя сыновьями школьного возраста, один из которых за теснотой спал на столе, а другой под столом, и опять же Верочкой Милославской, тогда еще бывшей в своем уме, авантажной и сравнительно молодой. Рекомая дочь-невеста по случаю вышла замуж за первого заместителя министра среднего машиностроения и переехала с братьями на Котельническую набережную, а старухе с компаньонкой зять выхлопотал однокомнатную квартиру в Монетчиковых переулках, поскольку на Руси искони не любят жить с тещами под одной крышей, а предпочитают ездить к ним на блины. Между прочим, зятю просто так не обошлось это обидное небрежение, и его вскоре посадили за шпионаж.

Таким образом Антонина Петровна оказалась одна в барских апартаментах, и всё бы ничего, кабы Верочка не сошла с ума, дочь, соломенная вдова, не завербовалась бы в геодезическую партию на Чукотку, а сыновья не обзавелись своими семьями, и у них словно память отшибло, что где-то на Москве как-никак существует мать.

Никто к ней не приходил. Единственно раз в неделю заглядывала немолодая симпатичная женщина, социальный работник, которая приносила в авоське кое-какую снедь, но она регулярно отказывалась посидеть час-другой со старухой за чашкой чая, ссылаясь на то, что ей недосуг и что «у нее на шее пятьдесят две штуки таких старух». Конечно, можно было скоротать день, сидя на лавочке у подъезда за компанию со своими сверстницами, по преимуществу такими же одиночками, как она, но соседки говорили между собой такие злые глупости, что слушать их было невмозготу. Ну, кто-нибудь ошибется номером телефона – тоже развлечение, а так оставалось слоняться по своей квартире как бы в поисках чего-то, каждый день делать влажную уборку да готовить себе еду. Такая, словом, господствовала в мире скукота, что глаза у старухи были вечно на мокром месте; телевизоров тогда еще не было и в помине, радиоточку за неуплату отключили еще летом 1951 года, во дворе не случалось никаких экстренных происшествий, и даже дворники что-то перестали драться между собой за какой-нибудь спорный шланг или ничейное помело.

В таких печальных условиях, хочешь не хочешь, а взгрустнется иной раз по коммуналке в Кривоколенном переулке, где и дети спали на столе и под столом, и по утрам было не достояться в уборную, и соседи делали друг другу мелкие пакости, и даже иногда ссоры доходили до рукоприкладства, а все-таки кругом были люди, и какое-то всеобщее братство будущего сквозило в совместных чаепитиях на кухне, даром что мужики заодно попивали водочку и орали патриотические песни дурными голосами и невпопад.

Стало быть, тосковала Антонина Петровна, тосковала, как вдруг нечаянно она сделала выдающееся научное открытие: оказалось, что если приставить к стене обыкновенный чайный стакан и прильнуть к нему ухом, то можно отлично слышать, что творится и говорится у соседей по этажу. С восточной стороны у нее были окна, выходившие во двор, слева брандмауер слепо глядел в город, сзади был «черный ход», но капитальная стена на кухне как раз граничила с неведомыми жильцами из соседнего подъезда, и при помощи нехитрого инструмента в виде чайного стакана можно было выведать множество разных тайн.

Насчет множества разных тайн Антонина Петровна не обманулась. Во-первых, она выведала, что за стеной живут супруги, которые матерно ругаются по утрам. Во-вторых, выяснилось, что в обеденный перерыв кто-то приводит в дом кого-то, скорее всего супруг любовницу, и с полчаса из-за стены доносятся срамные звуки любви: охи-ахи, стенания, какое-то хлюпанье и мерное поскрипывание панцирной сетки ложа, которые в те годы были очень распространены.

Но главное, старуха открыла подпольную организацию каких-то «младокоммунаров», явно врагов народа, которые замыслили то ли реставрацию капитализма в СССР, то ли покушения на первых лиц государства, – этого поначалу было не разобрать.

Каждый божий день, за исключением воскресений, между тремя часами пополудни и шестью часами вечера, когда супруги-матерщинники, видимо, еще были заняты на производстве, за стеной сходились эти самые «младокоммунары» и говорили злокозненные слова. Сколько их было числом, оставалось для старухи загадкой, но троих она наострилась отличать по особенным голосам: один слегка заикался, другой был девичий, третий не выговаривал букву «р». Занимали инсургентов, что называется, общие места, но это по нынешним временам, а в те годы они, казалось, несли такую несусветную ересь, что становилось сильно не по себе.

И сразу существование Антонины Петровны наполнилось каким-то неясным смыслом, ощущением причастности к чему-то опасно-значительному, она и грустить-то позабыла, как это делается, и в жизни появилась некая приятная острота. Такое почему-то было чувство, что ее сиротству пришел конец.

Каждый божий день, за исключением воскресений, когда старуха себе места не находила, она устраивалась в кухне на табурете, приставляла к стене чайный стакан и вся обращалась в слух. Вот за стеной задвигали стульями, что-то звякнуло, кто-то бумагами зашуршал, наконец, слегка заикающийся некто прокашлялся и завел речь...

Первый голос. Итак, друзья, в прошлый раз мы остановились на том, что хотя социалистический способ производства и обречен, в нем есть многие положительные черты, которые, исходя из идеологии младокоммунаров, нужно обязательно сохранить.

Второй голос. Да почему же он обречен?

Третий голос. Опять двадцать пять! Да потому что социализм исходит из государственной собственности на средства производства плюс плановое хозяйство и, следовательно, он исключает частную инициативу, вообще какую бы то ни было самодеятельность на местах. А это – деградация и застой. В свою очередь, плановое хозяйство и государственная собственность на средства производства подразумевают такую концентрацию власти, которая неизбежно перерождается в диктатуру злодея и дурака.

Первый голос. Однако учтем, друзья, что альтернатива социализму существует только одна – безжалостный и алчный капитализм. В российской редакции это будет такой разбой, какого не знала история человечества, с тех пор как крестоносцы взяли Константинополь в тысяча двести не помню каком году.

Второй голос. В таком случае пускай лучше будет социализм, но только без диктатуры злодея и дурака.

Третий голос. Но ведь это в любом случае гибель отечества и всего русского, что в нем есть! Социализм непродуктивен, он ни при какой погоде не способен соперничать с Западом, и тамошние ушлые ребята не мытьем так катаньем посадят нас на американские подштанники и голландскую колбасу!

Кто-то. То-то была бы жизнь!

Второй голос. Не ерничай, пожалуйста! На самом деле у социализма огромный потенциал. Это в том смысле, что еще ничего не ясно, чем всё обернется и как дальше пойдут дела. Ведь не век же будут валять дурака наши старики, придут молодые силы, хотя бы мы с вами,

и дадут новый импульс социалистическому способу бытия. Например, они откажутся от некоторых государственных монополий, но, с другой стороны, введут такие бешеные налоги на частных предпринимателей, что им служба медом не покажется и они будут богаче труженика кругом-бегом на одни штаны.

Первый голос. Еще хорошо бы колхозы к чертовой матери распустить! Даже так: кто хочет, пускай забирает свой пай земли и ведет фермерское хозяйство параллельно с колхозным или каким-нибудь там еще. Тогда разгорится такое соцсоревнование между частником и коллективом, что страна зароеется в хлебе и колбасе!

Кто-то. Ты, дружок, жизни не знаешь. Он свой пай возьмет и благополучно его пропьет.

Как ни чудовищны были речи «младокоммунаров», как ни страшно было существовать через одну капитальную стену с врагами народа, а выдающееся открытие Антонины Петровны никаких последствий не имело и прошло безнаказанно для врагов. Вот ведь какие бывают замечательные старухи – открыла бабка целую подпольную организацию инсургентов и все же не донесла. Впрочем, в лицо-то она никого из них так и не увидела, но живо представляла себе компанию молокососов с напомаженными прическами, с усиками *a la* Радж Капур и в клетчатых пиджаках, которые обыкновенному покупателю нипочем было не отыскать.

И правильно сделала, что не донесла, потому что много лет спустя кое-кто из «младокоммунаров», которые кощунствовали за стеной, стали большими знаменитостями, а то нефтяными магнатами, либо вышли в государственные деятели, или пали от пули наемного убийцы, оказались в Америке на правах парии, а то угодили в тюрьму за тяжелый нрав.

Хотя не исключено, что она просто не успела донести на «младокоммунаров» в так называемые компетентные органы, потому что неожиданно померла. В день ее погребения, словно в насмешку над таинством смерти, из многих окон неслась популярная тогда мелодия:

Прощай, Антонина Петровна,
Неспетая песня моя.

2010

ДОЖДЬ

Это была странная местность – здесь всегда шел дождь. То есть понятно, что не всегда, не все двадцать четыре часа в сутки, все-таки время от времени дождь прекращался, а по ночам даже можно было местами наблюдать звездное небо, однако по большей части тут либо сеяло, либо моросило, либо поливало, как из ведра. В Калуге могла неделями стоять ровная, солнечная погода, в Туле асфальт плавился от жары, а в городе Краснозаводске, бывшем Буйнове, тем временем шли затяжные, нудные, мучительные, как бессонница, одуряющие дожди. Разумеется, самой популярной обувью в Краснозаводске были резиновые сапоги и галоши с меховой оторочкой, и все поголовно таскались, точно школьники, со «сменкой» в тряпичных мешочках, а самой ходовой одеждой были прорезиненные плащи.

Интересно, что при такой злостной погоде городские тротуары содержались в относительно порядке, и проезжая часть была не так выбита, как в населенных пунктах по соседству, и вечных, непросыхающих, «миргородских» луж было не видать, и тем не менее Краснозаводск производил неприятное, даже гнетущее впечатление, как, впрочем, почти все наши малые города.

Самой *монстрёзной* составляющей здешнего пейзажа был металлургический завод, торчавший посередине города, этакое железное чудовище, как-то все подавшееся ввысь, черное, громадное, вонючее, фантастически-неземное в своих очертаниях, сплошь опутанное черт-те чем и склизкое от вечных дождей, словно его умастили какой-нибудь дрянью вроде средства от комаров. Некоторое время тому назад этот завод был куплен от казны неким Бургонским, здешним меценатом и богачом.

В остальном все было более или менее обыкновенно: памятник Ленину в полный рост, выкрашенный под бронзу, несколько кварталов невзрачных пятиэтажек из силикатного кирпича, два-три приличных здания давней постройки, как то дом купца Красильникова, в котором теперь Бюро технической инвентаризации, с десятков кварталов частных владений, окруженных покосившимися заборами, а за ними видны избушки в три-четыре окна, столетние яблони и картофельная ботва; в другой раз тут даже можно встретить козу на привязи, меланхолически поедающую мокрую мураву.

А когда-то, еще в бытность Буйновым, это был симпатичный заштатный городок, расположившийся, как водится, на семи холмах, между которыми петляла река Незнайка, с белеными колокольнями, кирпичными лабазами, крытыми тесом, и единственным промышленным предприятием – винокурненным заводом братьев Епископьянц.

Тогда населения в городе насчитывалось двадцать две тысячи душ, теперь осталось четыре с половиной, и все работают на металлургическом заводе у Бургонского, за исключением труженников социалки, горьких пьяниц и продавщиц. Впрочем, имеются и свои прибитки, отвечающие духу времени: в Краснозаводске есть библиотека с читальным залом, ночной клуб «Калифорния» под крышей бывшего лабаза купца Красильникова, вещевого рынок и газета «Повестка дня». В штате газеты числятся только трое – секретарь редакции Людочка Чистякова, корреспондент Сампсонов, пишущий под псевдонимом Лев Худой, и сам редактор Петр Алексеевич Удальцов.

Этот самый Удальцов был человек лет тридцати пяти, худощавый, сутуловатый, очкарик, с хорошим русским лицом, однако имевшим несколько странное выражение, какое бывает у так называемых городских сумасшедших, которые мечтают осчастливить человечество в ближайший понедельник и навсегда. Он писал одни редакционные статьи для первой полосы и не строил на свой счет никаких иллюзий, в отличие от коллеги Сампсонова, который, сверх своих основных обязанностей, много лет сочинял приключенческий роман из быта новороссийских таможенников, даром что стучал на машинке одним указатель-

ным пальцем и в орфографии был нетверд; во всяком случае, он никогда не помнил, через какую гласную в первом слоге пишется существительное «компот». Людочка же Чистякова, девушка одинокая и немолодая, была просто беззаветная работница, обремененная множеством редакционных дел, начиная от мытья полов и кончая стрижкой своих мужчин – два раза в месяц она подстригала Сампсонова под *полечку*, Удальцова – под *полубокс*.

Не сказать, чтобы эти трое крепко дружили между собой; Сампсонов-Худой вообще жил сычом, Людочка день-деньской суежилась в редакции и ей было ни до чего, а Удальцов давно завел своего закадычного приятеля на стороне – учителя музыки Павла Самочкина, преподававшего сольфеджио и баян в художественной школе при городском Доме культуры, которая существовала на средства магната Бургонского, а когда-то содержалась за счет казны.

В середине весны Петр Удальцов лег в районную больницу, стоявшую на холме неподалеку от городского кладбища (!), но не потому, что он приболел, а для разнообразия, от тоски. Был он человек одинокий, неустроенный, жил в однокомнатной квартирке напротив пожарной части и оттого время от времени устраивался в больницу, когда ему наскучивала газета, донельзя надоедал Лев Худой с вечными своими прожектами и сидеть по вечерам в четырех стенах уже было невмоготу. В палате он лежал один-одинешенек, потому что народ в Краснозаводске никогда не болел, а как-то сразу умирал, что называется, в одночасье, и Удальцова никто не беспокоил, поскольку и лечащий врач был в Орле, на курсах повышения квалификации, и заведующий отделением все пил водку с истопником в ординаторской, и медицинская сестра Вера постоянно мыла лестницы и полы. Попахивало хлоркой, в окно барабанил дождь, а за окном торчал завод, издали похожий на помесь гигантской каракатицы и огромного паука.

Только Удальцов обосновался в больнице, как навестить его пришел Паша Самочкин с гостинцем в допотопной авоське, именно он принес приятелю бутылку минеральной воды, связку баранок и апельсин. Паша снял с себя промокшее пальто, которое носил в межсезонье за неимением прорезиненного плаща, повесил пальто на гвоздик над батареей центрального отопления, и от него тотчас запахло псиной.

Петр лежал на спине в своей больничной койке, сложа руки за головой, Павел присел рядом на табурет.

– Ну и на чем мы с тобой давеча остановились? – спросил Удальцов, глядя не на гостя, а в потолок.

Павел в ответ:

– На том, что нашу родную речь со всей прилегающей культурой ожидает участь арамейского языка.

– Это скорей всего.

– Да с чего ты взял?!

– Помилуй: мы сидим голым задом на безбрежных запасах питьевой воды, угля, древесины, невозделанных земель, между тем плотность населения в России составляет полчеловека на километр. А за Уралом, почитай, вообще никто не живет, на пограничный конфликт резервистов не наскребешь. Ну кому это понравится, скажи на милость?! В Китае плюнуть нельзя – в соседа попадешь, в Японии просто ничего нет, даже металллома, одни японцы, в Индии, если ветхий домишко рухнет, то погребет под собой население нашего городка. Естественно, азиаты рано или поздно, так или иначе, наложат лапу на восточные территории России и будут переть вперед, пока не загонят нас, к чертовой матери, за Урал.

– Ну это еще бабушка надвое сказала, – возразил Самочкин. – Конечно, нам по-соседски завидуют и, может быть, даже тихо ненавидят, но, в конце концов, есть русский Бог и чисто русские чудеса.

– Например?

– Например, мы не омонголились в результате трехсотлетнего ига. Против поляков устояли в 1612 году, когда у нас не было ни армии, ни государства. Наконец, потеряв все, кроме Сибири, мы все-таки выиграли Великую Отечественную войну. В Бога ты не веруешь, как я погляжу.

– В Бога я отлично верую, – объявил Удальцов, – только всякому терпению есть предел. Божественному в том числе, и, судя по всему, нам больше не приходится рассчитывать на русские чудеса. Сдается, мы Создателю просто надоели, ну сколько можно, в самом деле: то у них «православие, самодержавие, народность», то «в борьбе обретишь ты право свое», то «грабь награбленное», то «экономная экономика», то опять двадцать пять – даешь прибавочную стоимость и стартовый капитал! А главное, в результате этой вакханалии народ настолько сбит с толку, что это уже, собственно, не народ. Это этнос какой-то, недоразумение, гусь в мармеладе, потому что народ есть прежде всего система моральных норм, единая для всех и несокрушимая, как химический элемент. А у нас всё «кто в лес, кто по дрова», уже детей принципиально не рожают, милиции боимся больше, чем бандитов, и нужно долго искать такое должностное лицо, которое нельзя было бы купить, как барана на шашлык.

– Положим, у нас разные есть люди, – возразил Самочкин, – есть, конечно, негодяи и дураки, и даже их безобразно много, но есть также и беззаветные трудяги, подвижники, интеллигенты и мудрецы.

– Много ты видел у нас в Краснозаводске интеллигентов и мудрецов?

Самочкин промолчал.

– Я тебе так скажу: в том-то и несчастье, что люди у нас очень разные, даже и чересчур, потому что здоровье нации обеспечивает какое-никакое единство, чтобы всё по ранжиру и одинаково, как в строю. Почему Америка первая держава в мире? Потому что там у всех, кроме идиотов, на первом месте доллар, на втором семья, на третьем оголтелый патриотизм плюс Бог по воскресеньям, даже если ты на практике дарвинист. Это, конечно, скучно, зато надежно, и на американском диалекте будут говорить вплоть до Страшного суда, еще примерно шесть миллиардов лет. А по-русски лет через триста будут общаться между собой только индийские философы и китайские специалисты, как в Средние века общались на мертвой латыни ученые и врачи.

Павел сказал:

– Никогда этому не бывать!

– Это почему же?

– Потому что довольно глупо оперировать исключительно реалиями сегодняшнего дня. Сегодня в России миллион бездомных детей, ужасающая смертность и катастрофическая рождаемость, аморальные настроения в обществе и развал, а завтра, глядишь, явится новое поколение русских людей и разгребет эту помойку до материковых известняков. Иначе и быть не может, потому что человеческая душа по своей природе христианка, как говорили древние, и нравственность в природе вещей, как утверждает один француз. Да еще Россия – страна постоянных и стремительных перемен. Ты, Петя, вспомни: каких-нибудь двадцать лет тому назад невозможно было купить банку сгущенки, и все думали, что конца-края не будет режиму большевиков. А сейчас на прилавках только черта лысого не сыскать, и как ни в чем не бывало доминирует капитал... Да мы просто обречены на перемены к лучшему, даже, может быть, самого кардинального характера, вплоть до реставрации бесплатной медицины и образования Славянского Союза во главе с Россией, который раскинется от Петропавловска до Балкан. Я в этом смысле очень надеюсь на молодежь.

– Окстись, Паша! – с чувством сказал Удальцов. – Это, стало быть, ты возлагаешь надежды на нашу необучаемую, невоспитуемую, нетрудоспособную, хворую, умственно отсталую молодежь?! Да они через одного вырожденцы, и это немудрено. Ведь больше ста

лет в России из поколения в поколение идет расчеловечивание человека, главным образом за счет физического уничтожения всего самого лучшего, что есть в нации, тех самых беззаветных трудяг, интеллигентов и мудрецов. Это только когда ногти стрижешь, они потом опять отрастают, а когда головы – жди беды. То есть жди в тридевятиом поколении тридесятиого царства молодых идиотов, насильников и воров. То-то легкая пожива для многомиллиардной Азии, которая непременно сократит Россию до размеров Московского государства времен Василия III и, пожалуй, погодит, пока русаки, которые лишились своих несметных богатств, не перережут друг друга за огрызок любительской колбасы. Вот тогда-то родную речь и постигнет участь арамейского языка. Впрочем, останется великая русская культура, но как артефакт, объект археологии, которой будут восхищаться пришельцы издалека...

В коридоре кто-то, видимо, медицинская сестра Вера, завопил на весь этаж:

– Граждане, на обед!

В этот раз давали пустые щи, пшенную кашу с кильками и по кружке топленого молока.

Удальцов выписался из больницы ровно через неделю. На другой день после выписки он вышел на работу: в редакции, разумеется, никаких перемен за это время не произошло, если не считать новой прически у Людочки Чистяковой, которая ей не шла.

Петр молча уселся за свой редакторский стол и принялся за бумаги; мерно тикали настенные часы «Мозер», гундели мухи, всегда оживавшие, как только Людочка задвигала печную вьюшку, в оконное стекло барабанил дождь. Через час с лишним явился Сампсонов-Худой и сказал, подсев к редакторскому столу:

– Послушай, что я нарыл... Оказывается, наш Бургонский в молодости был известным фарцовщиком, который специализировался по Золотому Кольцу. Он два раза сидел, при неизвестных обстоятельствах получил ранение в ногу, потом оказался в Москве и в начале девяностых годов появился в Краснозаводске с двумя чемоданами долларов США!..

– Ну и что из того? – отозвался Петр.

Сампсонов пожал плечами.

– Я тебе так скажу: наше шальное время переживет только реалист, то есть первоначально осмотрительный человек. У тебя в прошлом году сожгли мотоцикл? – сожгли! Так что уж лучше сочини свой роман и пиши корреспонденции о мелких безобразиях на селе.

– И правда, – сознался Сампсонов, – кой черт меня тогда дернул написать фельетон про нашего прокурора?... Ну вырубил человек два гектара леса на стройматериал, ну и вырубил, ну построил себе дворец на берегу Незнайки, ну и черт с ним, все равно наши выступления для него – комариный писк.

– Вот я и говорю: если ты возьмешься за Бургонского, то одним мотоциклом дело не обойдется. Этот господин – не человек и даже не делец, а стихия, и если что, он нас с тобой обоих без каши съест.

– Так-то оно так, но, с другой стороны, зло берет, и опять же встает вопрос: «Тварь ли я дрожащая или право имею», или я не мужчина и гражданин?! На положении дрожащей твари я бодрствовать не хочу.

– В конце концов, делай как знаешь, – заключил прения Удальцов.

С этими словами он вернулся к своим бумагам, а именно принялся за черновик полосной статьи о демографическом кризисе в районе и недоборе призывников. В этой статье было одно сомнительное место, касающееся детской смертности во Французской Гвиане, и нужно было тащиться за справкой в районную библиотеку, которая располагалась в двух кварталах от редакции, примерно в пяти минутах мужской ходьбы. Удальцов прихватил свой зонтик с костяным набалдашником и ушел. Зонты в Краснозаводске были еще у двоих: у самого магната Бургонского и у бухгалтера райпотребсоюза Софьи Павловны Мостовой.

Накрапывал дождь, и домишки за почерневшими заборами выглядели особенно удрученными, какими-то несчастными, точно их обидели ни за что. Прохожие, все как один в прорезиненных плащах, глядели себе под ноги, пятиэтажки из силикатного кирпича казались продрогшими от сырости, асфальт блестел как облизанный, местами противно сияя бензиновыми разводами, немощные переулки стояли по щиколотку в грязи. Бродячая собака, вымокшая насквозь, сидела посередине проезжей части, жалко поджавши хвост.

В библиотеке, в читальном зале, скучали две молоденькие библиотечарши и сидел над книгой один-единственный читатель, именно Паша Самочкин, поджавши под себя правую ногу и подперев голову кулаком.

Удальцов подсел к нему и спросил:

– Что читаешь, такой-сякой?

– «Критику чистого разума».

– Ну и как?

– Заковыристо написано, ты читал?

– Чего я только, господи, не читал... Между прочим, основная, я бы сказал фундаментальная трагедия зрелого человека заключается в том, что ему нечего почитать. Все давно читано-перечитано из того, разумеется, что надлежит освоить нормальному человеку, – вот в чем беда-то, а толку нуль! Ты, может быть, всего Лейбница осилил, постиг «монаду» как начало всех начал, а что, зачем и почему – тебе по-прежнему невдомек.

– Ну отчего же? – возразил Самочкин. – Начитанной особе отлично известно, что Земля вращается вокруг Солнца, что в человеке всё должно быть прекрасно, что окончательное доказательство в пользу бытия Божьего – это нравственный закон внутри нас и звездное небо над головой.

– Вместе с тем ни один орнитолог тебе не скажет, почему кукушка откладывает свои яйца в чужие кладки, почему все птицы вьют себе гнезда, кукушка – нет! Тем более таинственно и темно, зачем вот я, Петр Алексеевич Удальцов, редактор районной газетенки, немолодой, одинокий человек, съедающий две котлеты в день, мыслю и чувствую, – ну зачем?! Вообще это непереносимый, убийственный, страшный вопрос – «зачем?». Я, может быть, мыслю глубже «младогегельянцев», чувствую, как десять Вертеров вместе взятых, а живу да и помру, скорее всего, в захудалом, грязном городишке, на самом краю Европы, где все время идет дождь и люди почти друг с другом не говорят. Спрашивается: зачем? То есть не зачем я живу в этой дыре, а зачем я мыслю и чувствую, живучи в такой дыре?! Ведь это надо очень невзлюбить человека, чтобы наделить его уникальными способностями, границами с чудесным, и точно со зла запустить его, как в вольер, в этот бестолковый и грустный мир...

– А ты не допускаешь, что способность человека мыслить и чувствовать самоценна, а дождь, покосившиеся заборы, Бургонский – это все так... орнамент, опыт заполнения пустоты? Ты не допускаешь, что высокие свойства культурного человека – это, напротив, щедрый дар, милость, такая компенсация за никчемное бытие?

– Не допускаю, и вот по какой причине: не может быть самоценным то, что мучает человека без повода и вины; поскольку мысли в наших палестинах бывают, как правило, мучительными, то это выходит то же самое, что через два дня на третий вырезать пациенту аппендикс, которого у него, может быть, и не было никогда. Не допускаю по той причине, что не могут служить компенсацией за прозябание в захолустье, положим, угрызения совести, бессонница, смертный страх. Разве что человек был задуман, вычислен как болезнь. Но ведь это до чего надо было невзлюбить Адамово племя, чтобы внушить ему вечно ноющую мысль... о неизбежности смерти, например, или склонность к сомнению, смятению и тоске! Если бы Бог был точно всеблаг и человеколюбец, то Он либо адекватно наладил бы способ существования, либо создал человека бесчувственным и придурковатым, как попугай. На

что гуманнее было бы изначально как-то оглушить нашего брата и вытравить из него эту фантазмагорию, чтобы все оставалось по-прежнему – руки, ноги, кое-какая соображаловка, способность к прямохождению, но чтобы он, как собака, цвета не различал и больше ориентировался на нюх.

– Между прочим, – сердито сказал Паша Самочкин, – наш способ существования организован так, что адекватнее не бывает. Тебя гложет тоска, а ты посмотри в окошко: страна снегов и заборов, где главное действующее лицо – вор. И вообще всему виной первородный грех.

– Да в чем грех-то?! – вскричал Удальцов и нервным движением поправил свои очки. – В первом соитии? Но сам господь Бог наказал всему живому: «Плодитесь и размножайтесь». В несчастном яблоке с древа познания добра и зла? Но яблоки, по соизволению господню, растут не для собственного удовольствия, а чтобы их ели, тем более что они вкусные и в них полно витаминов, у англичан даже есть такая пословица:

«One apple a day keeps doctor away».¹ Наконец, зло не абстракция, а объективная реальность, и как антитеза вещь необходимейшая, в реакции обеспечивающая прогресс. Следовательно, первые люди были изгнаны из рая всего лишь за непослушание, но тогда зачем Бог создал человека по образу и подобию, в частности, как самостоятельное и довольно строптивое существо?

Одна из молоденьких библиотекарьш громко, протяжно зевнула и уронила на пол какой-то том.

Самочкин объявил:

– В Бога ты не веруешь, как я погляжу.

– В Бога я отлично верую, но иго, которое благо, и бремя, которое легко, к сожалению, не освобождают меня от множества вопросов под общей рубрикой «Зачем ты в наш колхоз приехал, / Зачем нарушил мой покой?» Например, какого черта я выучил четыре языка, если впереди у меня могильная яма и превращение сознания в элементарное вещество? На что мне сдалась мятежная русская душа, когда со всех точек города у нас виден один завод? В конце концов, зачем меня донимают все эти неистовые «зачем»?!

Самочкин сказал:

– Кто истинно верует, у того к Богу вопросов нет.

– Да я и сам завидую тем счастливицам, у которых вопросов нет! Действительно, чего лучше: прими «Символ веры», как таблицу умножения, и существуй себе безмятежно, уверенно, как в гробу.

– В твоём положении я вижу два выхода. Первый – спиться, но ты не пьешь. Второй – жениться, и это, по-моему, вариант. У меня даже есть на примете достойная кандидатура – Софочка Мостовая из райпотребсоюза, симпатичная девушка, не дура, не гулена, зарабатывает, – словом, это будет «Утоли моя печали», а не жена. Нет, правда, женись на Софочке, и тогда все твои «зачем» рассеются, как туман. Не до вопросов будет тебе тогда: образуется рядом близкое существо, с которым всегда можно... ну это самое, наладится хозяйство, потребуется какая-то подработка, дети пойдут, то да се, – сущая благодать! Вот у нас в городе несколько тысяч человек живут исключительно интересами семьи, мечтают, как белка в колесе, – и ничего, и слава богу, и знать они не знают твои «зачем». И ты, как женишься, тоже по-человечески заживешь...

Удальцов сказал:

– Типун тебе на язык!

¹ Одно яблоко в день – и врач без работы (англ.)

По дороге в редакцию он долго вспоминал, зачем заходил в библиотеку, после вспомнил, но решил не возвращаться и в редакцию не ходить.

Дома он с полчаса почитал, лежа на раскладушке, потом отложил книгу и призадумался: а не жениться ли ему действительно на этой самой Софочке Мостовой? Не век же ему вековать в гордом одиночестве на том основании, что жениться на Паше Самочкине невозможно, а больше ему не с кем серьезно поговорить... И жены, поди, существуют не для того, чтобы с ними разговаривали, а ради надышанности дома, и чтобы постоянно был рядом близкий человек, такая названная сестра, которая два раза на дню спросит тебя «а ты, часом, не температуришь?», терпеливо выслушает твои излияния, даже нимало не понимая, о чем, собственно, идет речь, и будет готовить настоящий московский борщ.

При мысли о борще ему захотелось есть. Он, кряхтя, поднялся с раскладушки, обулся, оделся и отправился в столовую при заводе, в которую пускали по пропускам. Дорогой, озираясь по сторонам, он припомнил слова Пушкина, сказанные чуть ли не двести лет тому назад по поводу «Мертвых душ», – дескать, боже, как грустна наша Россия; подумалось: вероятно, и какой-нибудь Моветон-сюр-Сенн показался бы французам печальным городишкой, не краше Краснозаводска, кабы у них было чем печалиться и не носились бы они, как курица с яйцом, со своей belle France. Впрочем, было понятно, что это соображение несправедливо и явилось ему со зла.

Столовая была на удивление хорошая, дешевая, и Петр с удовольствием съел пару котлет с макаронами и две порции кислых щей. Мужики вокруг галдели, разливали под столами водку по граненым стаканам и в открытую пили пиво, которое вчуже припахивало мочой.

Домой идти не хотелось; при одном только воспоминании о голых стенах, раскладушке, застеленной деревенским лоскутным одеялом, пустом холодильнике и радиоточке, зудевшей с утра до вечера того ради, чтобы в доме звучали человеческие голоса, его пробрало что-то вроде омерзения, и он решил погулять по городу час-другой. Уже пали сумерки и зажглись редкие уличные фонари, которые регулярно изничтожались местным хулиганьем, дождик накрапывал, но не сказать чтобы противный, а скорее освежающий, думалось о дурном; как-то: почему в стародавние времена, в пору квартальных надзирателей и классических гимназий, административная ссылка в какой-нибудь захолустный городок вроде Мышкина или Вятки, где отбывали отеческое наказание многие вольнодумцы, считалась чуть ли не милостью по сравнению с настоящей карой, положим, казематами Шлиссельбурга, в то время как по-настоящему ссылка в глухую русскую провинцию так безвылазно ужасна, что с некоторой натяжкой может быть приравнена к отсечению головы.

Прогуляв под дождем часа полтора, Петр воротился домой, опять улегся на свою раскладушку, но к давешней книге не прикоснулся, а вдруг призадумался о былом. Ему почему-то припомнились оладьи из картофельных очисток, которые жарили на касторовом масле, его первая книга «Мальчик из Уржума» о детстве Сергея Кирова, коновода ленинградских большевиков, хулиган Шмага, умевший протаскивать сквозь щеку иголку с ниткой, запах любительской колбасы, считавшейся тогда деликатесом из деликатесов, отцовский офицерский ремень, который очень больно дрался, если провиниться, и мать в подвенечном платье из немецкого парашютного шелка, когда она во второй раз выходила замуж за одного темного мужичка. Этот пройдоха делал леденцы из патоки и сахара и тем безбедно существовал, а накануне денежной реформы 1947 года, обобравшей народ до нитки, он накопил пятьсот детских колясок, после распродав их по новой цене и нажил на этой афере порядочный капитал. За воспоминаниями он не заметил, как задремал.

Проснулся он далеко за полночь, поднялся с раскладушки и сел к окну. Город был тих и темен, только завод вдалеке горел огнями, похожими на созвездие, – видимо, работала ночная смена – и оттуда доносился едва различимый гул. Подумалось: есть еще третий способ развеять печаль-тоску, как-то решить кардинальную проблему бытия, которая упирается

в проклятый вопрос «зачем», – это безостановочно мыслить, ничего не делая, не выходя из дома, ни с кем не видясь, однако же мыслить не затаем, что «*cogito ergo sum*»,² а просто потому, что, в сущности, нет ничего увлекательнее, даже спасительнее мысли и она одна способна наполнить существование до краев. Вот Циолковский: и вся-то Калуга считала его записным идиотом, и дети у него то и дело кончали жизнь самоубийством, и перебивался он с хлеба на квас, и жена его терзала, а ему все трын-трава, потому что мысль его безостановочно витала в межзвездном пространстве и была огорчена разве что законом всемирного тяготения, который ему страстно хотелось преодолеть. Со своей стороны, можно, например, скрасить целую неделю прозябания, размышляя о том, что русскому человеку почему-то все не впору, то тянет, то широко: и самодержавие его не устроило, и социализм не понравился, и капитализм пришелся не по душе. Вот к чему бы это? По всей видимости, к тому, что русский этнос не вписывается в общечеловеческую социальность, и не то чтобы он был слишком, непоправимо оригинален, а просто русак отнюдь не всемирны, как утверждал Достоевский, а замкнут в себе, как австралийский абориген. Оттого у него все не как у людей: по-европейски выходит «где хорошо, там и родина», а по-нашему будет «гори все синим огнем», там Бог – гигиеническое средство, у нас – попутчик, у них игра на бирже – святое дело, на Руси – экстремальный спорт.

² Мыслю, следовательно существую (*лат.*).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.